

Стивен Кинг

Оно

Эту книгу я с благодарностью посвящаю моим детям. Мои мать и жена научили меня быть мужчиной. Мои дети научили меня, как стать свободным.

Наоми Рейчел Кинг, четырнадцатилетней.

Джозефу Хиллстрому Кингу, двенадцатилетнему.

Оуэну Филипу Кингу, семилетнему.

Ребятки, вымысел — правда, запрятанная в ложь, и правда вымысла достаточна проста: магия существует.

С. К.

Этот старый город, сколько помню, был мне домом. Этот город будет здесь и после того, как я уйду. Восточная сторона, западная — приглядитесь.

Тебя разрушили, но ты все равно в моей душе. «Майкл Стэнли Бэнд»^[1]

Что ищешь ты среди руин, камней, Мой старый друг, вернувшийся с чужбины. Ты сохранил о родине своей Взлелеянные памятью картины.^[2]

Георгос Сеферис^[3]

Из-под синевы в темноту.

Нил Янг^[4]

Часть 1

ТЕНЬ ПРОШЛОГО

Они начинают! Совершенства обостряются, Цветок раскрывает яркие лепестки Широко навстречу солнцу. Но хоботок пчелы Промахивается мимо них. Они возвращаются в жирную землю, Плача — Вы можете назвать это плачем, Который расползается по ним дрожью, Когда они увядают и исчезают... «Патерсон», Уильям Карлос Уильямс[\[5\]](#)

Рожденный в городе мертвеца.[\[6\]](#)

Брюс Спрингстин

Глава 1

После наводнения (1957 г.)

1

Начало этому ужасу, который не закончится еще двадцать восемь лет — если закончится вообще, — положил, насколько я знаю и могу судить, сложенный из газетного листа кораблик, плывущий по вздувшейся от дождей ливневой канаве.

Кораблик нырял носом, кренился на борт, выпрямлялся, храбро проскакивал коварные водовороты и продолжал плавание вдоль Уитчем-стрит к светофору на перекрестке с Джексон-стрит. Во второй половине того осеннего дня 1957 года лампы не горели ни с одной из четырех сторон светофора, и дома вокруг тоже стояли темные. Дождь не переставая лил уже неделю, а последние два дня к нему прибавился ветер. Многие районы Дерри остались без электричества, и восстановить его подачу удалось не везде.

Маленький мальчик в желтом дождевике и красных галошах радостно бежал рядом с бумажным корабликом. Дождь не прекратился, но наконец-то потерял силу. Стучал по капюшону дождевика, напоминая мальчику стук дождя по крыше сарая... приятный такой, уютный звук. Мальчика в желтом дождевике, шести лет от роду, звали Джордж Денбро. Его брат, Уильям, известный большинству детей в начальной школе Дерри (и даже учителям, которые никогда не называли бы его так в лицо) как Заика Билл, остался дома — выздоравливал после тяжелого гриппа. В ту осень 1957 года, за восемь месяцев до прихода в Дерри настоящего ужаса и за двадцать восемь лет до окончательной развязки, Биллу шел одиннадцатый год.

Кораблик, рядом с которым бежал Джордж, смастерил Билл. Сложил из газетного листа, сидя в кровати, привалившись спиной к груде подушек,

пока их мать играла «К Элизе» на пианино в гостиной, а дождь без устали стучал в окно его спальни.

За четверть квартала, ближайшего к перекрестку и неработающему светофору, Уитчем перегораживали дымящиеся бочки и четыре оранжевых, по форме напоминающих козлы для пилки дров, барьера. На перекладине каждого чернела трафаретная надпись «ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ ДЕРРИ». За бочками и барьерами дождь выплеснулся из ливневых канав, забитых ветками, камнями, грудями слипшихся осенних листьев. Поначалу вода выпустила на гудрон тонкие струйки-пальцы, потом принялась загребать его жадными руками — произошло все это на третий день дождей. К полудню четвертого дня куски дорожного покрытия плыли через перекресток Уитчем и Джексон, будто миниатюрные льдины. К тому времени многие жители Дерри нервно шутили на предмет ковчегов. Департаменту общественных работ удалось обеспечить движение по Джексон-стрит, но Уитчем, от барьеров до центра города, для проезда закрыли.

Однако теперь, и с этим все соглашались, худшее осталось позади. В Пустоши река Кендускиг поднялась почти вровень с берегами, и бетонные стены Канала — выправленного русла в центральной части города — выступали из воды на считанные дюймы. Прямо сейчас группа мужчин, в том числе и Зак Денбро, отец Билла и Джорджа, убирали мешки с песком, которые днем раньше набросали в панической спешке. Вчера выход реки из берегов и огромный урон, вызванный наводнением, казались практически неизбежными. Бог свидетель, такое уже случалось: катастрофа 1931 года обошлась в миллионы долларов и унесла почти два десятка жизней. Лет минуло немало, но оставалось достаточно свидетелей того наводнения, чтобы пугать остальных. Одну из жертв нашли в двадцати пяти милях восточнее, в Бакспорте. Рыбы съели у несчастного глаза, три пальца, пенис и чуть ли не всю левую ступню. Тем, что осталось от кистей, он крепко держался за руль «форда».

Но нынче уровень воды снижался, а после введения в строй новой плотины Бангорской электростанции, выше по течению, угроза наводнений вообще перестала бы существовать. Так, во всяком случае, говорил Зак Денбро, работавший в «Бангор гидроэлектрик». Что же касается остальных... если на то пошло, будущие наводнения особо их не интересовали. Речь шла о том, чтобы пережить это, восстановить подачу электричества, а потом

забыть о случившемся. В Дерри научились прямо-таки виртуозно забывать трагедии и несчастья, и Биллу Денбро со временем предстояло это узнать.

Джордж остановился сразу за барьерами, на краю глубокой расщелины, которая прорезала твердое покрытие Уитчем-стрит. Расщелина пересекала улицу практически по диагонали, оканчиваясь на другой ее стороне футах в сорока ниже того места, справа от мостовой, где стоял Джордж. Он громко рассмеялся (звонким детским смехом, который расцветил серость дня), когда капризом бегущей воды его бумажный кораблик потащило на маленькие пороги, образовавшиеся на размытом гудроне. Поток воды прорезал в нем диагональный канал, и кораблик несясь поперек Уитчем-стрит с такой скоростью, что Джорджу пришлось бежать изо всех сил, чтобы не отстать от него. Вода грязными брызгами разлеталась из-под его галош. Их пряжки радостно позвякивали, пока Джордж Денбро мчался навстречу своей странной смерти. В этот момент его наполняла чистая и светлая любовь к своему брату Биллу; любовь — и толика сожаления, что Билл не может все это видеть и в этом участвовать. Конечно, он попытался бы рассказать все Биллу, когда вернется домой, но знал, что его рассказ не позволит Биллу видеть все и в мельчайших подробностях, как произошло бы, поменяйся они местами. Билл хорошо читал и писал, но даже в столь юном возрасте Джорджу хватало ума, чтобы понять: это не единственная причина, по которой в табеле Билла стояли одни пятерки, а учителям нравились его сочинения. Да, рассказывать Билл умел. Но еще умел и видеть.

Кораблик пулей проскочил диагональный канал, этот всего лишь сложенный лист с частными объявлениями из «Дерри ньюс», но теперь Джорджу казалось, что это быстроходный катер из военного фильма, вроде тех, какие он иногда по субботам смотрел с Биллом в городском кинотеатре на утренних сеансах. Из военного фильма, где Джон Уэйн сражался с япошками. От носа бумажного кораблика в обе стороны летели брызги, а потом он добрался до ливневой канавы на левой стороне Уитчем-стрит. В том месте, где встречались два потока (один — текущий по расщелине в гудроне, второй — по ливневой канаве), образовался довольно мощный водоворот, и Джорджу показалось, что вода утянет кораблик и перевернет его. Действительно, он опасно накренился, но потом Джордж издал радостный вопль, потому что кораблик выпрямился, развернулся и понесся вниз, к перекрестку. Мальчик бросился его догонять. Над головой октябрьский ветер тряс деревья, которые многодневный ливень (в этом году

показавший себя уж очень безжалостным жнецом) едва ли не полностью освободил от груза разноцветных листьев.

2

Сидя в кровати, с еще покрасневшими от жара щеками (но температура, как и уровень воды в Кендускиг, наконец-то стала снижаться), Билл закончил складывать бумажный кораблик, но, когда Джордж потянулся к нему, отвел руку.

— А те-еперь принеси мне па-а-арафин.

— Зачем? Где он?

— В подвале на по-о-олке, как только спустишься вниз, — ответил Билл. — В жестянке с надписью «Га-а-алф»... «Галф». Принеси мне жестянку, нож и миску. И ко-о-оробок спичек.

Джордж покорно пошел, чтобы принести все перечисленное Биллом. Он слышал, что мама по-прежнему играла на пианино, не «К Элизе», а что-то другое. Эта музыка ему не нравилась — какая-то сухая и суетливая. Он слышал, как дождь барабанил по окнам кухни. Эти звуки приятно успокаивали в отличие от мыслей о подвале. Он не любил подвал, не любил спускаться туда по лестнице: всегда представлял себе что-то затаившееся внизу, в темноте. Глупо, конечно, так говорил отец, так говорила мать и, что более важно, так говорил Билл, но однако...

Он даже не любил открывать дверь, чтобы включить свет, опасаясь (эта идея была настолько глупая, что он ни с кем ею не делился), что какая-то жуткая когтистая лапа ляжет на его запястье, пока он будет ощупывать стену в поисках выключателя... а потом рывком утащит его в темноту, пахнущую грязью, сыростью и подгнивающими овощами.

Глупость! Тварей, заросших шерстью, переполненных убийственной злобой и с когтями, не существует. Время от времени кто-то сходил с ума и убивал множество людей (иногда Чет Хантли говорил о таком в вечерних новостях) и, разумеется, не следовало забывать про комми,^[7] но в их подвале никаких страшных монстров не обитало. Тем не менее эта мысль крепко сидела в голове. И в опасные моменты, когда правой рукой он нащупывал выключатель (левой намертво вцепившись в дверной косяк или ручку), подвальное амбре становилось таким сильным, что, казалось,

заполняло мир. Запахи грязи, сырости и подгнивших овощей сливались в один безошибочно узнаваемый запах монстра, являвшего собой апофеоз всех монстров. Запах чудовища, которое Джордж не мог хоть как-то назвать, — запах Оно, затаившегося и изготовившегося к прыжку. Существа, которое могло есть все, но отдававшего особое предпочтение мясу мальчиков.

В то утро он открыл дверь и начал ощупывать стену в поисках выключателя, другой рукой привычно вцепившись в дверной косяк, крепко закрыв глаза, с торчащим из уголка рта кончиком языка, который напоминал умирающий корешок, ищущий воду в эпицентре засухи. Смешно? Конечно! Будьте уверены! Посмотрите на Джорджи! Джорджи боится темноты! Он такой маленький! Музыка доносилась из комнаты, которую отец называл общей, а мать — гостиной. Доносилась, словно из другого мира, далекого-далекого. Так, наверное, воспринимал бы разговоры и смех на переполненном летнем пляже обессиленный пловец, который боролся с подводным течением.

Его пальцы нащупали выключатель. Ух!

Щелчок...

...и ничего. Никакого света.

Черт! Электричество!

Джордж отдернул руку, будто от корзины со змеями. Отступил на шаг от открытой двери в подвал, сердце учащенно билось в груди. Света нет, конечно же... он забыл, что электричество отключили. Оосподи-суси! Что теперь? Вернуться к Биллу и сказать — не смог он принести парафин, потому что электричества нет и ему страшно. Он боится, как бы что-то не схватило его на ступенях лестницы, не комми, не маньяк-убийца, но существо, которое хуже любого из них. Оно просунет какую-то часть своей вонючей туши в зазор между ступенями и ухватит его за лодыжку. Это будет здорово, правда? Другие могли бы посмеяться над такой выдумкой, но Билл смеяться бы не стал. Билл бы рассердился. Билл бы сказал: «Пора повзрослеть, Джорджи... хочешь ты кораблик или нет?»

И в этот самый момент, словно мысли Джорджа подтолкнули его, Билл прокричал из спальни:

— Ты та-ам умер, Дж-Джорджи?

— Нет, уже несу, Билл, — тут же откликнулся Джордж, потер руки, пытаясь избавиться от предательских мурашек, покрывших кожу. — Я задержался, потому что захотелось попить.

— Что ж, по-оторопись!

Он спустился вниз на четыре ступеньки к нужной ему полке (сердце колотилось в горле, как большой, теплый молоток, волосы на затылке стояли дыбом, глаза жгло как огнем, руки похолодели), в полной уверенности, что в любой момент дверь в подвал может закрыться сама по себе, отсекая белый свет, льющийся из окон кухни, и он услышит Оно, нечто такое, что хуже всех комми и маньяков-убийц этого мира, хуже япошек, хуже Аттилы, хуже чудовищ в сотне фильмов ужасов. Оно, глухо рычащее... и он услышал бы это рычание в жуткие секунды перед тем, как монстр монстров прыгнул бы на него и вспорол ему живот.

В этот день из-за сильнейшего наводнения, почти потопа, подвальный запах был еще противнее, чем обычно. Их дом располагался достаточно высоко по Уитчем-стрит, рядом с вершиной холма, так что они оказались не в самом худшем положении, но вода все равно стояла на полу подвала, просочившись туда через старый фундамент. Запах был таким неприятным, что дышать приходилось часто и неглубоко.

Джордж принялся быстро-быстро перебирать лежащий на полке хлам: старые банки с обувным кремом «Киви», бархотки для чистки обуви, разбитая керосиновая лампа, две почти пустые пластиковые бутылки «Уиндекса», старая канистра с полиролью «Тэтл». По какой-то причине канистра так поразила его, что он провел тридцать секунд, зачарованно глядя на черепаху на крышке. Отшвырнул канистру от себя... и наконец-то нашел нужную ему жестянку с надписью «Галф».

Схватил и со всех ног взбежал по лестнице, внезапно осознав, что сзади подол рубашки вылез из штанов, что подол этот его и погубит: тварь в подвале позволит ему подняться почти до самого верха, а потом ухватится за подол рубашки, потащит назад и...

Он добрался до кухни и захлопнул за собой дверь. Просто грохнул дверью. Привалился к ней, закрыв глаза, весь в испарине, сжимая в руке жестянку с

парафином.

Пианино смолкло, слышался голос матери:

— Джорджи, в следующий раз сможешь хлопнуть дверью чуть сильнее? Возможно, тебе удастся разбить несколько тарелок в серванте.

— Извини, мама! — крикнул он в ответ.

— Джорджи, какашка, — позвал из спальни Билл. Тихонько, чтобы не услышала мать.

Джордж хихикнул. Страх его уже ушел. Ускользнул так же легко, как ускользают воспоминания о кошмарном сне, когда кто-то просыпается в холодном поту, с гулко бьющимся сердцем. Он ощупывает тело, оглядывается, чтобы убедиться: наяву ничего этого не было, и тут же начинает забывать. Половину кошмара не помнит, когда его ноги касаются пола, трех четвертей — когда выходит из душа и начинает вытираться, а уж после завтрака кошмар забывается полностью. Ускользает... до следующего раза, когда, в том же кошмарном сне, все страхи возвращаются.

«Эта черепаха, — подумал Джордж, направляясь к столику, в ящике которого лежали спички. — Где я уже видел такую черепаху?»

Но ответа не нашел и перестал об этом думать.

Взял из ящика коробок спичек, со стойки — нож (держа его лезвием от себя, как учил отец), из буфета для посуды в столовой — маленькую миску. Потом вернулся в комнату Билла.

— Ка-акая же ты жо-опная дырка, Дж-Джорджи. — Впрочем, голос Билла звучал миролюбиво. Он отодвинул от края прикроватного столика атрибуты болезни: пустой стакан, графин с водой, бумажные салфетки, книги, бутылку растирки «Викс вапораб»^[1], запах которой всегда будет ассоциироваться у Билла с грудным кашлем и сопливым носом. Там же стоял и старенький радиоприемник «Филко», транслирующий не Баха или Шопена, а песню Литтл Ричарда... но так тихо, что голос Литтл Ричарда лишился присущей ему первозданной мощи. Их мать, которая обучалась игре на рояле в Джульярде,^[8] ненавидела рок-н-ролл. Не просто не любила

— он вызывал у нее отвращение.

— Я не жопная дырка, — ответил Джордж, расставляя принесенное на прикроватном столике.

— Она самая, — настаивал Билл. — Большая, грязная жопная дырка, вот ты кто.

Джордж попытался представить себе такого ребенка — жопную дырку на ножках, и засмеялся.

— Ты — жопная дырка, которая больше Огасты. — Тут начал смеяться и Билл.

— Твоя жопная дырка больше целого штата, — ответил Джордж. И оба они хохотали почти две минуты.

Потом последовал разговор шепотом, из тех, какие имеют значение только для маленьких мальчиков: выясняли, кто самая большая жопная дырка, у кого самая большая жопная дырка, чья жопная дырка более грязная и так далее. Наконец Билл произнес одно из запретных слов — обозвал Джорджа большой, грязной, засранной жопной дыркой, после чего оба расхохотались. Смех Билла перешел в приступ кашля. Когда же кашель пошел на спад (к тому времени лицо Билла приобрело цвет спелой сливы, что встревожило Джорджа), пианино вновь перестало играть. Оба мальчика повернулись к гостинной, прислушиваясь: не отодвинется ли стул, не раздадутся ли торопливые шаги матери. Билл зажал рот сгибом локтя, подавляя остатки кашля, другой рукой указывая на графин. Джордж налил ему стакан воды, Билл выпил его.

Пианино заиграло вновь — опять «К Элизе». Пьеса эта навсегда осталась в памяти Заики Билла, и даже много лет спустя при этих звуках кожа покрывалась мурашками, сердце сжималось, и он вспоминал: «Моя мама играла эту пьесу в день смерти Джорджа».

— Еще будешь кашлять, Билл?

— Нет.

Билл достал из коробки бумажную салфетку, издал какой-то урчащий звук,

отхаркнул мокроту в салфетку, смял ее в комок и бросил в корзинку для мусора у кровати, заполненную такими же комками. Потом открыл жестянку с парафином, перевернул и выложил на ладонь парафиновый куб. Джордж пристально смотрел на него, но помалкивал и ни о чем не спрашивал. Билл не любил, когда Джордж заговаривал с ним, если он что-то делал, а Джордж уже на собственном опыте убедился — если будет держать рот на замке, Билл скорее всего сам все объяснит.

Ножом Билл отрезал маленький кусочек от парафинового куба, опустил в миску, зажег спичку и положил ее на отрезанный кусок парафина. Оба мальчика наблюдали за желтым пламенем, а затихающий ветер время от времени хлестал окно дождем.

— Корабль нужно сделать водонепроницаемым, иначе он намокнет и утонет. — В обществе Джорджа Билл заикался меньше, а порой заикание вообще исчезало. В школе, однако, оно становилось таким сильным, что говорить он просто не мог. Общение прекращалось, и одноклассники Билла отводили глаза, когда тот, ухватившись за край парты, с покрасневшим лицом, цветом уже не отличавшимся от ярко-рыжих волос, сощурившись, пытался вытолкнуть какое-нибудь слово из упрямящегося горла.

Иногда — чаще всего — слово выталкивалось. Но случалось — застревало намертво. В три года его сбила машина, отбросив на стену дома. Семь часов он пролежал без сознания. Мама всегда говорила, что заикание — следствие того происшествия. Но Джордж иногда чувствовал, что у его отца (и самого Билла) такой уверенности нет.

Кусок парафина в миске почти полностью растаял.

Пламя сходило на нет, стало синим, продвигаясь по картонной спичке, погасло. Билл сунул палец в расплавившийся парафин, зашипев, отдернул. Виновато улыбнулся Джорджу:

— Горячо.

Через несколько секунд сунул вновь, принялся намазывать парафин на бумажный борт, где тот быстро засыхал, образуя пленку молочного цвета.

— А можно мне? — спросил Джордж.

— Давай. Только не капни на одеяло, а не то мама тебя убьет.

Джордж сунул палец в парафин, уже очень теплый, но не горячий, и принялся размазывать его по другой стороне кораблика.

— Толстым слоем не клади, жопная дырка! — одернул его Билл. — Хочешь, чтобы он утонул в первом же плавании?

— Извини.

— Все нормально. Лучше размазывай.

Джордж закончил со своим бортом, потом поднял кораблик. Он стал тяжелее, но не намного.

— Круто. Я собираюсь выйти и отправить его в плавание.

— Давай, — ответил Билл. Теперь он выглядел усталым... усталым — и по-прежнему нездоровым.

— Мне бы хотелось, чтобы и ты мог пойти, — ответил Джордж. Ему действительно хотелось. Билл иной раз любил покомандовать, но у него всегда возникали такие интересные идеи, и он редко обижал брата. — Это же твой корабль.

— Мне тоже хотелось бы пойти. — Билл помрачнел.

— Что ж... — Джордж переминался с ноги на ногу, держа кораблик обеими руками.

— Ты лучше надень дождевик, — предупредил Билл, — не то заболеешь г-гриппом, как я. Наверное, все равно заболеешь, от моих ба-ацилл.

— Спасибо, Билл. Классный кораблик. — И тут Джордж сделал то, чего не делал давно, то что Билл запомнил навсегда: наклонился и поцеловал брата в щеку.

— Теперь ты точно заболеешь, жо-опная дырка. — Но Билл как-то повеселел. Улыбнулся Джорджу. — И убери все на место, хорошо? Или у мамы случится и-истерика.

— Конечно. — Он собрал все подручные средства, которыми они обеспечили водонепроницаемость бортов кораблика и пересек комнату: кораблик лежал на жестянке с парафином, стоявшей чуть под углом в миске.

— Дж-Дж-Джорджи?

Джордж обернулся, посмотрел на брата.

— Бу-удь осторожен.

— Конечно. — Брови мальчика чуть приподнялись. Такое обычно говорит мать — не старший брат. Странно, как и то, что он поцеловал Билла. — Конечно, буду.

Он вышел. Больше Билл никогда его не видел.

3

И теперь Джордж бежал, догоняя уплывающий вниз кораблик, по левой стороне Уитчем-стрит. Бежал быстро, но вода бежала еще быстрее, и расстояние между ним и корабликом увеличивалось. Он услышал нарастающий рокот и увидел, что в пятидесяти ярдах ниже по холму дождевая вода, текущая по ливневой канаве, уходит в водосток — продолговатый, полукруглый вырез в бордюрном камне. На глазах у Джорджа лишенную листьев ветвь, с черной и блестящей, как кожа тюленя, корой, занесло в пасть водостока. Ветвь на мгновение зависла, а потом ее утащило вниз. Туда и направлялся его кораблик.

— Ох, говно и «Шинола»![\[9\]](#) — в ужасе воскликнул он.

Прибавил скорости и уже подумал, что сейчас выхватит кораблик из воды. Но тут нога Джорджа поскользнулась, и он упал, ободрав коленку и вскрикнув от боли. И уже с мостовой, под другим углом, наблюдал, как его кораблик сделал два круга, попав в очередной водоворот, а потом исчез.

— Говно и «Шинола»! — вновь выкрикнул он, стукнув кулаком по гудрону. Заболела и рука, и Джордж заплакал. Так глупо потерять кораблик!

Он поднялся, подошел к водостоку. Опустился на колени, заглянул вниз. Вода гудела, падая в темноту. От этого гудения по коже побежали мурашки. Оно напомнило ему о...

— Ах! — Вскрик вырвался из него, словно выбитый пружиной, и он отпрянул.

Там были желтые глаза — те самые глаза, которые он всегда представлял себе, но никогда не видел в подвале. Это животное, пришла бессвязная мысль, животное, только и всего, какое-то животное, может, домашний кот, которого утянуло туда водой.

И однако он уже изготовился дать деру... побежал бы через секунду-другую, когда его умственный распределительный щит справился бы с шоком, вызванным этими сверкающими желтыми глазами. Он чувствовал грубую поверхность гудрона под пальцами, над ним — холодный слой

воды, огибающей их, и тут раздался голос, вполне нормальный, даже приятный голос, обратившийся к нему из водостока.

— Привет, Джорджи.

Джордж моргнул и вновь посмотрел вниз. И не смог поверить тому, что увидел. Это тянуло на выдуманную историю или на фильм, в котором зверушки разговаривали и танцевали. Будь он на десять лет старше, он бы точно не поверил тому, что видел, но он не прожил шестнадцати лет. Только шесть.

В водостоке находился клоун. Освещение там оставляло желать лучшего, но света все-таки хватало, так что Джордж Денбро не сомневался в том, что видел. А видел он клоуна, как в цирке или по телику. И выглядел этот клоун чем-то средним между Бозо[\[10\]](#) и Кларабелем,[\[11\]](#) который общался с другими (или это была женщина?.. с полом клоуна Джордж определить не мог), дую в свой ящик в субботней утренней передаче «Худи-Дуди». Только Буйвол Боб мог понять, что говорит Кларабель, и Джорджа это всегда смешило. Он видел, что лицо у клоуна в водостоке белое, пучки рыжих волос торчат с обеих сторон лысой головы, вокруг рта нарисована большая клоунская улыбка. Живи Джордж несколькими годами позже, он подумал бы сначала о Рональде Макдональде,[\[12\]](#) а уж потом о Бозо или Кларабеле.

В одной руке клоун держал связку шариков всех цветов, словно какой-то огромный спелый фрукт.

В другой руке — кораблик Джорджа.

— Хочешь свой кораблик, Джорджи? — Клоун улыбнулся.

И Джордж улыбнулся. Ничего не смог с собой поделать. На такую улыбку нельзя не ответить.

— Конечно, хочу.

Клоун рассмеялся.

— «Конечно, хочу». Это хорошо! Это очень хорошо! А как насчет шарика?

— Ну... конечно. — Он потянулся вперед... а потом с неохотой отвел руку. — Я ничего не должен брать у незнакомых людей. Так говорил мой папа.

— У тебя мудрый папа, — ответил клоун из водостока, улыбаясь. И как, спросил себя Джордж, он мог подумать, что у клоуна желтые глаза? Они же ярко-синие, с искринкой, такие же, как у мамы и Билла. — Правда, очень мудрый. Поэтому я тебе представляюсь. Я, Джорджи, Боб Грей, так же известный, как Пеннивайз, Танцующий клоун. Пеннивайз, познакомься с Джорджем Денбро. Джордж Денбро, познакомься с Пеннивайзом. И теперь мы знаем друг друга. Я перестал быть незнакомцем для тебя, и ты перестал быть незнакомцем для меня. Заметано?

Джордж засмеялся:

— Думаю, да, — потянулся к кораблику... и вновь отвел руку. — Как ты оказался там, внизу?

— Ветер с дождем просто задули меня туда, — ответил Пеннивайз, Танцующий клоун. — Они задули туда весь цирк. Ты чувствуешь запах цирка, Джордж?

Джордж наклонился вперед. Внезапно в нос ударил запах арахисовых орешков! Горячих поджаренных арахисовых орешков. И уксуса! Белого, который через дырку в крышке льют на картофель-фри! А еще запах сахарной ваты и жарящихся пончиков. Плюс слабый, но ядреный запах говна диких животных. Распознал он и запах опилок на арене. Но при этом...

При этом никуда не делись запах мутного потока, и гниющих листьев, и темных водосточных теней. Сырой, гнилостный запах. Подвальный запах.

Только остальные запахи были сильнее.

— Конечно, чувствую.

— Хочешь свой кораблик, Джорджи? — спросил Пеннивайз. — Я повторяю вопрос только потому, что он вроде бы не так уж тебе и нужен. — Он поднял кораблик выше, улыбаясь. Клоун был в мешковатом шелковом костюме с большими оранжевыми пуговицами, ярко-синем галстуке,

больших белых перчатках, какие обычно носили Микки Маус и Дональд Дак.

— Да, хочу. — Джордж смотрел в водосток.

— И шарик? У меня есть красные, зеленые, желтые, синие...

— Они летают?

— Летают? — Глаза клоуна округлились. — Да, конечно, летают. Они летают! А еще есть сахарная вата.

Джордж потянулся к водостоку.

Клоун схватил его за руку.

И Джордж увидел, что лицо клоуна изменилось.

Он увидел перед собой ужас, в сравнении с которым самые жуткие образы существа в подвале казались сладкими грезами. Увиденное разом, одним ударом когтистой лапы, лишило его рассудка.

— Они летают, — проворковала тварь в водостоке сдавленным, посмеивающимся голосом. Она крепкой, обжимающей хваткой держала руку Джорджа и тащила его к ужасной темноте, куда с шумом и ревом низвергалась вода, унося к океану смытый в нее дождем мусор. Джордж изогнул шею, чтобы не смотреть в эту запредельную черноту, и закричал в дождь, бессвязно кричал в белое осеннее небо, широкой дугой изогнувшееся над Дерри во второй половине того дня, осенью 1957 года. Его пронзительные, душераздирающие крики услышала вся Уитчем-стрит: в домах, что ниже водостока, что выше, люди бросались к окнам или выбегали на крыльцо.

— Они летают, — рычало Оно, — летают, Джорджи, и когда ты окажешься внизу со мной, ты тоже будешь летать, ле...

Плечо Джорджа прижало к бетону бордюрного камня, и Дэйв Гарденер, который оставался дома, из-за наводнения не пошел в «Корабль обуви», где работал, увидел только мальчика в желтом дождевике, маленького мальчика, кричащего и дергающегося в мутной воде, которая

перехлестывала его лицо, отчего крики частично захлебывались, пузырясь.

— Все внизу летает, — шептал посмеивающийся, мерзкий голос, а потом внезапно мальчик услышал, как что-то рвется, накатила волна слепящей боли, и на том для Джорджа Денбро все закончилось.

Дэйв Гарденер поспел туда первым, и хотя он подбежал к водостоку через сорок пять секунд после первого крика, Джордж Денбро уже умер. Гарденер схватился за дождевик на спине мальчика, вытащил его на мостовую... и начал кричать сам, когда тело Джорджа повернулось у него в руках. Левая сторона дождевика стала ярко-красной. Кровь лилась в водосток из рваной дыры в том месте, где была левая рука мальчика. Круглая головка плечевой кости, отвратительно яркая, торчала из порванной материи.

Глаза мальчика смотрели в белесое небо и уже начали наполняться дождем, когда Дэйв, пошатываясь, двинулся навстречу другим людям, бегущим по улице.

Где-то внизу, в водостоке, почти до отказа набитом мусором («Там никого не могло быть, — потом объяснял шериф округа репортеру „Дерри ньюс“, и в голосе слышались ярость и раздражение: он едва сдерживался, чтобы не сорваться на крик. — Даже Геркулеса унесло бы этим потоком»), сложенный из газетного листа кораблик Джорджа мчался вперед по темным кавернам и длинным бетонным тоннелям, в которых ревел водяной поток. Какое-то время он плыл бок о бок сдохлым куренком, чьи когтистые, как у ящерицы, лапки смотрели в потолок, с которого капала вода. Потом, в каком-то пересечении к востоку от города, куренка унесло влево, а кораблик Джорджа поплыл прямо.

Часом позже (мать Джорджа лежала в палате интенсивной терапии городской больницы Дерри, там ей дали успокоительного, а Заика Билл, бледный и потрясенный, молча сидел на кровати, слушая рыдания отца, доносящиеся из гостиной, где мать играла на пианино «К Элизе», когда Джордж вышел из дома) кораблик вылетел из бетонной трубы, как пуля вылетает из ружейного ствола. Поплыл по водоводу и далее по безымянному каналу. Двадцать минут спустя, когда кораблик добрался до бурлящей, вздувшейся реки Пенобскот, на небе начали появляться первые просветы синевы. Прекратился и дождь.

Кораблик нырял носом, раскачивался, иной раз черпал воду, но не тонул. Два брата хорошо потрудились: борта оставались водонепроницаемыми. Я не знаю, где закончилось его плавание, и закончилось ли. Возможно, он достиг океана и до сих пор бороздит его просторы, как волшебный корабль из сказки. Я знаю только одно: он держался на поверхности и неся на гребне потока, когда пересек административную границу города Дерри, штат Мэн, и, тем самым, навсегда уплыл из этой истории.

Глава 2

После фестиваля (1984 г.)

1

Адриан носил эту шляпу по одной причине (как потом скажет его рыдающий бойфренд в полиции) — потому что выиграл ее на конкурсе «Бросай до победного» в ярмарочном комплексе в Бэсси-парк, за шесть дней до смерти. Он ею гордился.

— Он носил ее, потому что **любил** этот говенный город! — выкрикнул копам Дон Хагарти, бойфренд Адриана.

— Хватит, хватит, в таких словечках нужды нет, — ответил ему патрульный Гарольд Гарденер, один из четырех сыновей Дэйва Гарденера. В тот день, когда его отец вытащил из водостока бездыханное, однорукое тело Джорджа Денбро, Гарольду Гарденеру было пять лет. В этот день, почти двадцать семь лет спустя, тридцатидвухлетний и лысеющий Гарольд понимал, что горе и боль Дона Хагарти — реальность, но не мог заставить себя отнестись к ним серьезно. Этот мужчина (если кому-то хотелось называть его мужчиной) красил губы и носил атласные лосины, такие обтягивающие, что не составляло труда сосчитать все морщинки на его члене. Горе — горем, боль — болью, он все равно оставался педиком. Как его друг, покойный Адриан Меллон.

— Давайте повторим еще разок, — предложил напарник Гарольда, Джефффри Ривз. — Вы вдвоем вышли из «Сокола» и направились к Каналу. Что произошло потом?

— Сколько раз я должен говорить вам одно и то же, придурки? — Хагарти по-прежнему кричал. — Они убили его! Столкнули в воду. Решили, что они в Мачо-Сити! — Дон Хагарти заплакал.

— Еще разок, — терпеливо гнул свое Ривз. — Вы вдвоем вышли из «Сокола». Что произошло потом?

2

В комнате для допросов чуть дальше по коридору двое полицейских Дерри беседовали с семнадцатилетним Стивом Дюбеем. Этажом выше, в кабинете инспектора по надзору за условно осужденными, еще двое допрашивали восемнадцатилетнего Джона Гартон по кличке Паук, и, наконец, в кабинете начальника полиции сам шеф Эндрю Рейдмахер и заместитель окружного прокурора Том Баутильер вели допрос пятнадцатилетнего Кристофера Ануина. Кристофер, в вываренных джинсах, измазанной машинным маслом футболке и массивных тупоносых саперных сапогах, плакал. Рейдмахер и Баутильер занялись им, потому что совершенно справедливо предположили, что он — слабое звено.

— Давай повторим еще разок, — предложил Баутильер Кристоферу, произнеся эту фразу практически одновременно с Джефффри Ривзом, который находился двумя этажами ниже.

— Мы не собирались его убивать, — лепетал Ануин. — Все эта шляпа. Мы не могли поверить, что он будет носить эту шляпу после... вы понимаете, после того, как Паук предупредил его в первый раз. Наверное, мы хотели припугнуть его.

— За то, что он сказал, — вставил шеф Рейдмахер.

— Да.

— Сказал Джону Гартону семнадцатого июля, во второй половине дня.

— Да, Пауку. — Из глаз Ануина вновь брызнули слезы. — Но мы пытались его спасти, когда увидели, что он в беде... во всяком случае, мы со Стиви Дюбеем пытались... мы не собирались его убивать!

— Брось, Крис, не засирай нам мозги, — отмахнулся Баутильер. — Вы же сбросили этого маленького гомика в Канал.

— Да, но...

— И вы трое сами пришли сюда, чтобы выложить все начистоту. Шеф

Рейдмахер и я это ценим, верно, Энди?

— Будь уверен. Только настоящий мужчина готов отвечать за то, что он сделал, Крис.

— Так что не опускайся до лжи. Вы решили бросить его в Канал, как только увидели, что он и его дружок-гомик выходят из «Сокола», так?

— Нет! — яростно запротестовал Крис Ануин.

Баутильер достал из нагрудного кармана рубашки пачку «Мальборо», сунул сигарету в рот. Потом предложил пачку Ануину:

— Сигарету?

Ануин взял. Баутильеру пришлось гоняться пламенем спички за кончиком сигареты, потому что губы подростка тряслись.

— В том числе и потому, что он был в этой шляпе? — спросил Рейдмахер.

Ануин глубоко затянулся, опустил голову, сальные волосы упали на глаза. Он выпустил дым через нос, усыпанный угрями.

— Да, — едва слышно выдохнул он.

Баутильер наклонился вперед, его карие глаза сверкнули. Лицо стало хищным, но голос оставался мягким.

— Что, Крис?

— Я сказал, да. Думаю, так. Сбросить в Канал. Но не убивать. — Он поднял голову, охваченный паникой, жалкий, все еще не способный осознать колоссальные перемены, которые произошли в его жизни после того, как вчера вечером в половине восьмого он вышел из дома, чтобы с двумя друзьями повеселиться в последний вечер проходящего в Дерри фестиваля «Дни Канала». — Не убивать! — повторил он. — И этот парень под мостом... я до сих пор не знаю, кто он.

— Какой парень? — спросил Рейдмахер без особого интереса. Эту часть они уже слышали, и ни один в нее не поверил — рано или поздно

обвиняемые в убийстве практически всегда указывают на какого-то таинственного другого парня. Баутильер даже придумал название этой увертке: синдром однорукого мужчины, отталкиваясь от старого телесериала «Беглец».

— Парень в клоунском костюме, — ответил Крис Ануин и содрогнулся. — Парень с шариками.

3

Фестиваль «Дни Канала», который проходил с 15 по 21 июля, удался, с этим соглашалось большинство жителей Дерри: положительно сказались и на нравственном облике города, и на его имидже... и на кошельке.

Недельный фестиваль проводился в честь столетия открытия Канала, который пересекал центр города. Благодаря сооружению Канала в Дерри активизировалась торговля лесом в 1884–1910 годах. Канал положил начало процветанию Дерри.

Город прихорашивался — с востока на запад и с севера на юг. Рывтины и выбоины, которые, как клялись некоторые жители, не ремонтировались десятилетиями, выравнивали, они обретали твердое покрытие. Городские здания ремонтировали внутри и красили снаружи. Худшие из граффити в Бэсси-парк (главным образом направленные против гомосексуалистов, вроде «УБЬЕМ ВСЕХ ПИДОРОВ» или «СПИД ВАМ ОТ БОГА, ЧЕРТОВЫ ГОМИКИ») счищали со скамеек и деревянных стен крытого пешеходного моста через Канал, прозванного Мостом Поцелуев.

В трех примыкающих друг к другу пустующих магазинах в центре города разместили Музей дней Канала, заполнив его экспонатами, которые собрал Майкл Хэнлон, местный библиотекарь и историк-любитель. Семьи-старожилы делились своими бесценными сокровищами, и за неделю фестиваля почти сорок тысяч посетителей музея заплатили по четвертаку, чтобы посмотреть на меню столовой 1890-х годов, топоры, пилы, другой инструмент лесорубов 1880-х, детские игрушки 1920-х, более двух тысяч фотографий и девять бобин любительских фильмов о жизни Дерри в последние сто лет.

Спонсировало музей «Женское общество Дерри», которое запретило к показу некоторые из предложенных Хэнлоном экспонатов (в частности, знаменитый стул наказаний из 1930-х) и фотографий (скажем, банды Брэдли после знаменитой перестрелки). Но все согласились: экспозиция и так хороша, и никто, если на то пошло, не хотел видеть всю ту жуть. Куда лучше подчеркнуть позитив и отринуть негатив, как пелось в старой песне.

В Дерри-парк поставили огромный полосатый тент, под которым продавали закуски, выпечку и прохладительные напитки. Каждый вечер там играл

оркестр. В Бэсси-парк компания «Смоукис грейтер шоус» привезла аттракционы, а местные жители поставили павильоны с разными конкурсами. Специальный трамвайчик каждый час курсировал по историческим кварталам города, в итоге подъезжая к этой шумной и веселой машине по выкачиванию денег.

Именно здесь Адриан Меллон выиграл шляпу, которая послужила причиной его смерти, — бумажный цилиндр с цветком и надписью на ленте: «Я ♥ ДЕРРИ!»

— Я устал, — сказал Джон Гартон. Как и два его друга, одевался он, бессознательно подражая Брюсу Спрингстину, хотя если б его спросили, он, вероятно, назвал бы Спрингстина хлюпиком или тем же гомиком и выказал бы восхищение такими крутыми металлическими группами, как «Деф Леппард», «Твистед систер» или «Джудас Прист». Рукава простой синей футболки он оторвал, чтобы выставить напоказ мускулистые руки. Его густые каштановые волосы падали на один глаз — в этом он скорее копировал Джона Кугара Мелленкампа, [\[13\]](#) а не Спрингстина. Обе руки украшали синие татуировки — тайные символы, которые выглядели как детские рисунки. — Больше не хочу говорить.

— Только расскажи нам о второй половине вторника на ярмарке, — предложил ему Пол Хьюз. Он тоже устал, а вся эта безобразная история шокировала его и вызывала отвращение. В голову вновь и вновь приходила мысль о том, что фестиваль «Дни Канала» закончился событием, о котором все знали, но никто не решался сообщить в «Программе дня». А если бы решился, то выглядело бы это следующим образом:

Суббота, 21:00. Последнее выступление оркестра средней школы Дерри и ансамбля «Барбер шоп меллоу-мэн».

Суббота, 22:00. Большой праздничный фейерверк.

Суббота, 22:35. Ритуальное жертвоприношение Адриана Меллона, официально закрывающее фестиваль «Дни Канала».

— На хер ярмарку, — ответил Паук.

— Только повтори, что ты сказал Меллону, и что он сказал тебе.

— Господи... — Паук закатил глаза.

— Давай, Паук, — поддакнул напарник Хьюза.

Джон Гартон вновь закатил глаза и пошел по новому кругу.

Гартон увидел их обоих, Меллона и Хагарты, когда они фланировали, обняв друг друга за талию и хихикая словно девушки. Поначалу он и впрямь подумал, что это две девушки. Потом узнал Меллона. Ему раньше подсказали, кто он такой. А в тот момент, когда он смотрел на них, Меллон повернулся к Хагарты... и они поцеловались.

— Чел, я сейчас блевану, — в отвращении воскликнул Паук.

Компанию Гартону составляли Крис Ануин и Стив Дюбей. Когда Паук указал на Меллона, Дюбей сказал, что он вроде бы знает второго педика. Его звали Дон, фамилию он не помнил, и этот педик подвозил одного ученика средней школы Дерри и пытался к нему подкатить.

Меллон и Хагарты вновь двинулись к трем парням. Они вышли из павильона, где проводился конкурс «Бросай до победного», и направлялись к выходу с территории ярмарочного комплекса. Паук Гартон потом скажет полицейским Хьюзу и Конли, что его «гражданская гордость» почувствовала себя уязвленной при виде этого гребаного педика в шляпе с надписью на ленте «Я ♥ ДЕРРИ». Идиотская хреновина, эта шляпа — бумажная имитация цилиндра с приклеенным сверху цветком, который покачивался из стороны в сторону. И эта идиотская шляпа еще сильнее уязвила гражданскую гордость Паука.

А потому, когда Меллон и Хагарты проходили мимо, по-прежнему обнимая друг друга за талию, Паук Гартон крикнул: «Надо бы мне заставить тебя съесть эту шляпу, гребаный жоподрючило!»

Меллон повернулся к Гартону, флиртуя поиграл глазками.

— Если тебе хочется что-нибудь съесть, милый, я могу найти кое-что повкуснее моей шляпы.

Тут Паук Гартон решил, что сейчас он подправит лицо этого гомика. На нем поднимутся новые горы и континенты заметно сместятся. Никто еще не предлагал ему отсосать. Никто.

Он уже двинулся к Меллону. Хагарти, дружок Меллона, испугавшись, попытался его увести, но тот, улыбаясь, не двигался с места. Потом Гартон скажет патрульным Хьюзу и Конли, что Меллон, по его мнению, был под кайфом. Был, подтвердит Хагарти, когда патрульные Гарденер и Ривз поделятся с ним предположением Гартона, под кайфом от двух пончиков с каплей меда, от ярмарки и дня в целом. И следовательно, не мог адекватно воспринимать реальность угрозы, которую представлял собой Паук Гартон.

— Но таким уж был Адриан. — Бумажной салфеткой Дон вытер глаза и размазал тушь на веках. — Он не считал нужным прятаться. Относился к тем дуракам, которые думают, что все так или иначе образуется.

И ему в тот день крепко бы досталось, если бы Гартон вдруг не почувствовал, как что-то постукивает ему по локтю. Полицейская дубинка. Повернул голову и увидел патрульного Фрэнка Мейкена, еще одного представителя «Гордости Дерри».

— Не обращай на него внимания, дружок, — предложил Мейкен Гартону. — Занимайся своими делами и оставь этих голубков в покое. Развлекайся.

— Вы слышали, что он мне сказал? — зло спросил Гартон. К нему уже присоединились Ануин и Дюбей (они оба, почувствовав беду, попытались увести его на центральную аллею, но Гартон оттолкнул их, набросился бы с кулаками, если б они не отстали). Его мужское начало чувствовало себя оскорбленным и требовало отмщения. Никто не предлагал ему отсосать. Никто.

— Я не верю, что он как-то тебя обозвал, — ответил Мейкен. — И ты, если мне не изменяет память, заговорил с ним первым. Так что двигай отсюда, сынок. И не хочу тебе это повторять.

— Он назвал меня гомиком!

— Так ты боишься, что, может, ты гомик? — спросил Мейкен вроде бы с искренним интересом, и Гартон густо покраснел.

По ходу этого диалога Хагарти изо всех сил пытался увести Адриана Меллона. И наконец Меллон сдвинулся с места.

— Пока-пока, любовь моя! — обернувшись, крикнул Адриан.

— Заткнись, сладкожопый, — бросил ему Мейкен. — Проваливай отсюда.

Гартон попытался броситься на Меллона, но Мейкен схватил его.

— Я могу отвезти тебя в участок, дружок, и, судя по тому, как ты себя ведешь, это не самая плохая мысль.

— Когда увижу тебя в следующий раз, тебе будет больно! — крикнул Гартон вслед удаляющейся паре, и многие головы повернулись в его сторону. — А если ты будешь в этой шляпе, я тебя убью. Не нужны городу такие гомики, как ты!

Не поворачиваясь, Меллон поднял левую руку, помахал пальцами (с ногтями, покрашенными светло-вишневым лаком) и еще сильнее принялся крутить бедрами. Гартон вновь рванулся к нему.

— Еще одно слово или движение, и ты едешь в участок, — спокойно предупредил Мейкен. — И поверь, мой мальчик, слова у меня не разойдутся с делом.

— Пошли, Паук. — Крис Ануин дернул его за рукав. — Остынь.

— Вы любите таких, как этот? — спросил Паук Мейкена, полностью игнорируя Криса и Стива. — Да?

— Такие мне как раз безразличны, — ответил Мейкен. — А что я действительно люблю, так это спокойствие и порядок, и их ты как раз и нарушаешь, прыщавый. А теперь хочешь проехать со мной или как?

— Пошли, Паук, — подал голос Стив Дюбей. — Давай съедим по хот-догу.

Паук пошел, нарочито одергивая футболку и убирая волосы с глаз. Мейкен, который тоже давал показания наутро после смерти Адриана Меллона, указал в них: «Последнее, что я слышал, когда он уходил с друзьями, были его слова: „Когда увижу его в следующий раз, ему крепко достанется“».

6

— Пожалуйста, мне нужно поговорить с матерью, — в третий раз попросил Стив Дюбей. — Я должен поговорить с матерью, чтобы она успокоила моего отчима, не то он задаст мне чертовскую трепку, когда я вернусь домой.

— Скоро поговоришь, — пообещал ему патрульный Чарльз Аварино. И Аварино, и его напарник, Барни Моррисон, знали, что сегодня Стив Дюбей домой не вернется, возможно, не попадет туда еще много вечеров. Парень, похоже, не понимал, насколько серьезен этот арест, и Аварино не сильно удивился, когда какое-то время спустя узнал, что Дюбей бросил учебу в шестнадцать лет. До того он учился в школе на Уотер-стрит. Его коэффициент умственного развития равнялся 68, как следовало из теста Векслера, который он проходил в седьмом классе, где дважды оставался на второй год.

— Расскажи нам, что случилось, когда ты увидел Меллона, выходящего из «Сокола», — предложил Моррисон.

— Нет, чел, лучше не буду.

— Почему нет? — спросил Аварино.

— Я, возможно, и так наговорил слишком много.

— Ты и пришел сюда, чтобы поговорить, — напомнил Аварино, — нет разве?

— Ну... да... но...

— Послушай, — Моррисон сел рядом с Дюбеем, дал ему сигарету, — ты думаешь, я и Чик любим педиков?

— Я не знаю...

— По нам видно, что мы любим педиков?

— Нет, но...

— Мы твои друзья, Стиви, — говорил Моррисон без тени улыбки. — И поверь, тебе, Крису и Пауку сейчас нужны все друзья, которые только у вас есть, потому что завтра все правдолюбцы этого города будут требовать вашей крови.

На лице Стива Дюбея отразилась тревога. Аварино, который буквально мог читать мысли этого волосатого маменькиного сынка, подозревал, что тот вновь думает о своем отчине. И хотя Аварино терпеть не мог маленькое сообщество геев города Дерри (как практически все копы, он бы только порадовался, увидев, что «Сокол» закрылся навсегда), он бы с удовольствием лично отвез Дюбея домой. Более того, подержал бы Дюбея за руки, пока отчим будет превращать этого говнюка в отбивную котлету. Аварино не любил геев, но не считал, что их можно мучить и убивать только за то, что они — геи. С Меллоном обошлись жестоко и безжалостно. Из-под моста через Канал его достали с выпученными от ужаса глазами. А этот парень, похоже, не имел ни малейшего представления о том, что он помог сделать.

— Мы не собирались причинять ему вреда, — повторил Стив. Эту фразу он говорил всякий раз, когда начинал путаться.

— Потому ты и хочешь поговорить с нами начистоту, — кивнул Аварино. — Если мы доберемся до истины, то, возможно, вся эта история не будет стоять и выеденного яйца. Правда, Барни?

— Не то слово, — согласился Моррисон.

— Еще раз, что ты можешь сказать? — терпеливо настаивал Аварино.

— Что ж... — И Стив, пусть и медленно, начал говорить.

Когда бар «Сокол» открылся в 1973 году, Элмер Керти полагал, что его клиентура будет по большей части состоять из пассажиров автобусов: расположенная рядом автостанция обслуживала маршруты трех компаний — «Треилуэйз», «Грейхаунд» и «Арустук». Он не принял в расчет, что на автобусах ездили главным образом женщины и семьи с маленькими детьми. А многие другие брали с собой в дорогу бутылку в пакете из плотной оберточной бумаги и вообще не поднимались со своего кресла. Выходили из автобуса разве что солдаты или моряки, которые пропускали по стакану пива, иногда по два. Да и какой можно устроить загул за десятиминутную остановку?

Керти начал сознавать эту горькую правду где-то к 1977 году, но тогда он уже ничего не мог изменить. По уши погряз в счетах и не знал, как выйти из минуса. Мысль о том, чтобы поджечь бар и получить страховку, конечно же, приходила в голову, но он полагал, что нанимать надо профессионала, поскольку его самого вывели бы на чистую воду... и понятия не имел, где нанимают профессиональных поджигателей.

В феврале того года он решил, что протянет до Четвертого июля,[\[14\]](#) а потом, если ситуация не улучшится, просто выйдет за дверь, сядет в автобус и поедет посмотреть, как живут люди во Флориде.

Но в следующие пять месяцев бар вдруг начал процветать, хотя ничего в нем не изменилось. Остались прежними и интерьер, выдержанный в черно-золотых тонах, и украшавшие его чучела птиц (брат Элмера Керти был таксидермистом-любителем, специализировался на птицах, и Элмер унаследовал чучела после его смерти). Если раньше он наливал шестьдесят стаканов пива и смешивал двадцать напитков за вечер, то теперь неожиданно для себя Элмер наливал восемьдесят стаканов и смешивал сто напитков... сто двадцать... иногда сто шестьдесят.

Теперь его клиентура за редким исключением состояла из вежливых молодых людей. Многие из них одевались, мягко говоря, необычно, но тогда необычная одежда еще оставалась практически нормой, и Элмер Керти понял, что посетители его бара почти все без исключения геи, где-то году в 1981-м. Если бы жители Дерри слышали, как он говорит об этом,

они бы рассмеялись и сказали, что Элмер Керти, должно быть, считает, что они только вчера на свет родились — но в этом его утверждении не было ни грамма лжи. Как муж погуливающей жены, он узнал последним. А к тому времени, когда узнал, его это не волновало. Бар приносил прибыль, как и четыре других бара в Дерри, но «Сокол» был единственным, который регулярно не разносили буйные посетители. Во-первых, в бар не заходили женщины, из-за которых обычно и вспыхивали драки, а во-вторых, эти мужчины, геи они или нет, где-то овладели тем секретом мирного общения друг с другом, что никак не давался их гетеросексуальным собратьям.

Как только Керти узнал о нетрадиционной ориентации своих завсегдатаев, до его ушей отовсюду начали долетать страшные истории о «Соколе». Истории эти циркулировали по городу многие годы, но до 1981-го Керти просто их не слышал. Самыми активными рассказчиками этих историй, как выяснил он, были мужчины, которых не затащили бы в «Сокол» и на аркане, из страха, что у них руки отсохнут или что-то другое. И однако именно они знали самые пикантные подробности.

Согласно этим историям, ты мог зайти в бар в любой вечер и увидеть, как мужчины, тесно прижавшись друг к другу, танцуют, вместе гоняя шкурку прямо на танцплощадке; как мужчины целуются в засос у стойки бара; как мужчины отсасывают друг другу в туалетах. А еще была комната, куда ты шел, если хотел провести какое-то время на Башне силы: там восседал здоровяк в нацистской униформе, со смазанной вазелином рукой, который с радостью ублажал всех, кто этого хотел.

На самом деле ничего такого не было и в помине. Если какие-то пассажиры автобусов заходили в «Сокол» выпить пива или стаканчик виски, они не замечали ничего необычного: да, сидели в баре только мужчины, но по всей стране работали тысячи баров для рабочих, куда тоже не заглядывали женщины. Посещали бар геи, но гей и глупец — не синонимы. Если им хотелось немного оторваться, они ехали в Портленд. Если им хотелось оторваться на полную, прочувствовать, что такое шомпол или большой мальчик Пека, они ехали в Нью-Йорк или Бостон. Дерри был небольшим городком, провинциальным городком, и здешнее маленькое сообщество геев понимало, какая над ними нависала угроза.

Дон Хагарты бывал в «Соколе» два или три года до того мартовского вечера в 1984 году, когда впервые появился там с Адрианом Меллоном. Ранее

Хагартти считал себя вольным стрелком, встречался с одним партнером не более пяти-шести раз. Но к концу апреля даже Элмеру Керти, который не обращал на такие дела никакого внимания, стало ясно: у Хагартти и Меллона завязались серьезные отношения.

Хагартти работал чертежником в конструкторском бюро в Бангоре. Адриан Меллон, журналист, в штате нигде не состоял, писал статьи во все издания, где его могли опубликовать — в журналы авиакомпаний, в исповедальные журналы, в региональные, в воскресные приложения, в журналы эротических писем. Кропал он и роман, но не так чтобы усердно: начал его на третьем курсе колледжа, двенадцатью годами раньше.

Адриан приехал в Дерри, чтобы написать большую статью о Канале — получил заказ от «Нью-Ингленд байуэйз», глянцевого журнала, выходящего в Конкорде раз в два месяца. Адриан Меллон согласился написать эту статью, потому что выжал из «Байуэйза» командировочные на три недели плюс оплату номера в «Дерри таун-хаусе», хотя на сбор материала требовалось пять дней. За оставшиеся две недели он мог собрать материал для статей в еще четыре региональных издания.

Но в этот трехнедельный период он встретил Дона Хагартти, и вместо того чтобы вернуться в Портленд по завершении командировки, нашел себе маленькую квартирку на Коссат-лейн. Прожил там только шесть недель, а потом перебрался к Дону Хагартти.

Это лето, рассказал Хагарти Гарольду Гарденеру и Джеффу Ривзу, стало счастливейшим в его жизни... и ему следовало быть начеку, так он и сказал; уж он-то точно знал, что Бог подкладывает ковер под таких, как он, лишь затем, чтобы выдернуть из-под ног.

По словам Хагарти, его смущало только одно — Адриан очень уж восхищался Дерри. Он купил футболку с надписью на груди «МЭН НЕ ТАК ПЛОХ, НО ДЕРРИ ЧУДО КАК ХОРОШ». Он купил свитер школьной команды «Тигры Дерри». И конечно же, эта шляпа. Он заявлял, что местная атмосфера будоражит кровь и вдохновляет. Возможно, говорил правду: впервые за год он достал из чемодана совсем уж запахнувший роман.

— Так он действительно работал над романом? — спросил Гарденер. Не потому, что его это интересовало, просто хотел, чтобы Дон побольше им рассказал.

— Да... писал страницу за страницей. Говорил, что роман получится ужасным, но он более не будет ужасным незаконченным романом, как все прошедшие годы. Собирался поставить последнюю точку к своему дню рождения, в октябре. Конечно же, он не знал, каков Дерри на самом деле. Думал, что знал, но не прожил здесь достаточно долго, чтобы прочувствовать настоящий Дерри. Я пытался рассказать ему, но он не слушал.

— А каков настоящий Дерри, Дон? — спросил Ривз.

— Больше всего похож на мертвую шлюху с червяками, выползающими из манды.

Оба копа в изумлении уставились на него.

— Это плохое место, — добавил Хагарти. — Это клоака. Как будто вы оба этого не знаете? Вы прожили здесь всю жизнь и этого не знаете?

Ни один из них не ответил, и после короткой паузы Хагарти продолжил.

Перед тем как Адриан Меллон вошел в его жизнь, Дон собирался уехать из Дерри. Он прожил здесь три года, главным образом потому, что согласился снять на длительный срок квартиру, из окон которой открывался самый фантастический вид на реку, но теперь срок договора подходил к концу, и Дона это радовало. Отпадала необходимость каждый рабочий день мотаться в Бангор и обратно. Никаких тебе больше зловещих флюидов, которые все время незримо чувствовались в Дерри. Адриан мог думать, что лучше Дерри ничего нет, а вот Дона город пугал. И не только гомофобскими настроениями, которые ясно выражали и местные проповедники, и граффити в Бэсси-парк, но как раз это Дон мог привести в качестве вещественного доказательства. Адриан лишь рассмеялся.

— Дон, в каждом городе Америки есть люди, которые ненавидят геев. И не говори мне, что ты не в курсе. У нас, в конце концов, эпоха слабоумного Ронни и Филлис Хаусфлай.[\[15\]](#)

— Пойдем со мной в Бэсси-парк, — предложил Дон, когда понял, что Адриан верит в то, что говорит — а говорил он по большому счету о том, что Дерри ничуть не хуже любого другого города, расположенного в глубинке и с тем же количеством жителей. — Я хочу тебе кое-что показать, любовь моя.

Они поехали в Бэсси-парк — как сказал Хагарты копам, произошло это в середине июня, примерно за месяц до убийства Адриана. Он привел его в темные, дурно пахнущие тени под Мостом Поцелуев и указал на одно из граффити. Адриану пришлось зажечь спичку и поднести к надписи, чтобы прочитать ее.

«ПОКАЖИ МНЕ СВОЙ ЧЛЕН, ГОМИК, И Я ЕГО ТЕБЕ ОТРЕЖУ».

— Я знаю, как люди относятся к геем. — Дон заговорил ровным, спокойным голосом. — Подростком меня избили на стоянке грузовиков в Дейтоне. Какие-то парни в Портленде подожгли мне брюки около закуской, а толстозадый старый коп сидел в патрульной машине и смеялся. Я много чего повидал — но с подобным никогда не сталкивался. Посмотри сюда. Прочитай.

Пламя второй спички высветило:

«ЗАГОНИМ ГВОЗДИ В ГЛАЗА ВСЕХ ПЕДИКОВ (ВО ИМЯ ГОСПОДА)!»

— Кто бы ни писал эти короткие наставления, с головой у них совсем плохо. Мне было бы легче, если б я думал, что все надписи — дело рук одного человека, психа-одиночки, но... — Дон обвел рукой свод Моста Поцелуев. — Здесь много таких надписей. И я уверен, что писал не один человек. Вот почему я хочу уехать из Дерри, Ади. Здесь слишком много таких мест и людей, которые свихнулись на этом.

— Знаешь, подожди, пока я не закончу роман, хорошо? Пожалуйста? В октябре, обещаю, не позже. Воздух здесь лучше.

— Он не знал, что остерегаться следовало воды, — с горечью добавил Дон Хагарт.

Том Баутильер и шеф Рейдмахер наклонились вперед, оба молчали. Крис Ануин сидел, наклонив голову, говорил в пол. Именно эту часть его рассказа они хотели услышать, ту самую часть, которая отправляла в Томастонскую тюрьму штата как минимум двоих из этой троицы говнюков.

— Ярмарка была не очень, — монотонно бубнил Ануин. — Все эти клевые аттракционы уже разбирали, ну, знаете, вроде «Чертова блюда» или «Параашютной карусели». На автодроме, где сталкиваются машины, вывесили табличку «ЗАКРЫТО». Ездили только детские автомобильчики. Мы пошли к павильонам, Паук увидел тот, где проводился конкурс «Бросай до победного», заплатил пятьдесят центов, увидел шляпу, которую носил тот гомик, попытался выиграть ее, но броски ему не удавались, и после каждого нового промаха настроение у него ухудшалось, вы понимаете. И Стив... он из тех парней, которые постоянно говорят, забей, блин, забей на это, забей на то, почему бы тебе не забить, понимаете? Только в этот день он очень уж настаивал на своем, потому что принял ту таблетку, понимаете? Красную таблетку. Может, даже не запрещенную. Он цеплялся к Пауку, и я даже подумал, что сейчас Паук ему врежет. Но он продолжал цепляться: «Ты даже не можешь выиграть эту пидорскую шляпу. Ты, должно быть, совсем выдохся, раз не можешь выиграть эту пидорскую шляпу». Наконец женщина, которая там работала, дает нам приз, хотя кольцо даже не висело над ним, потому что, думаю, она хотела от нас избавиться. Не знаю, может, и не хотела. Но мне кажется, что хотела. Дала нам такую дуделку, ну, понимаете. Ты в нее дуешь, надуваешь ее, раскатываешь. А она вроде бы пердит, знаете? У меня такая была. Я получил ее на Хэллоуин, или на Новый год, или на какой-то другой чертов праздник, я думал, отличная штука, только я ее потерял. А может, кто-то вытащил ее из моего кармана на этой гребаной школьной игровой площадке, знаете? Так что, когда ярмарка закрывалась и мы уходили оттуда, Стив по-прежнему доставал Паука насчет того, что тот не смог выиграть пидорскую шляпу, Паук все больше молчал, и я знал, что это дурной признак, но мне оставалось только идти с ними, понимаете? Я знал, что надо найти нам всем какое-то занятие, только не мог ничего придумать. Поэтому, когда мы пришли на автомобильную стоянку, Стив говорит: «Куда едем? По домам?» — а Паук отвечает: «Давай сначала подскочим к

„Соколу“ и посмотрим, нет ли там этого педика».

Баутильер и Рейдмахер переглянулись. Баутильер поднял палец и постучал по щеке: хотя этот кретин в саперных сапогах не имел об этом ни малейшего понятия, говорил он об убийстве по предварительному сговору.

— Я говорю, нет, мне пора домой, а Паук говорит, ты боишься подъехать к этому пидорскому бару? И я, блин, еду. А Стив все еще под кайфом, и он говорит, давай вмажем какому-нибудь гомику, давай вмажем какому-нибудь гомику, давай вмажем...

11

И так уж вышло, что сложилось все наихудшим для всех образом. Адриан Меллон и Дон Хагарты вышли из бара «Сокол», выпив по два стакана пива, миновали автобусную станцию, а потом взялись за руки. Ни один об этом не подумал, иногда они делали так инстинктивно. Часы показывали двадцать минут одиннадцатого. На углу они повернули налево.

Мост Поцелуев находился в полумиле выше по течению. Они собирались перейти реку по Мосту Главной улицы, не так разрисованному граффити. Кендускиг, как обычно летом, сильно обмелела, глубина не превышала четырех футов. Вода бесшумно обтекала бетонные опоры моста.

Когда «Дастер» настиг их (Стив Дюбей заметил, как они вдвоем выходили из «Сокола» и радостно указал на них), они только поднялись на мост.

— Подрезай их! Подрезай их! — крикнул Паук Гартон. Адриан и Дон только что прошли под фонарем, и он заметил, что они идут, держась за руки. Это его разъярило — но не так сильно, как шляпа. С большим бумажным цветком, который болтался из стороны в сторону. — Подрезай их, на хрен!

Стив так и сделал.

Крис Ануин отрицал свое активное участие в том, что последовало дальше, но Дон Хагарты рассказал другую историю. По его словам, Гартон выскочил из автомобиля чуть ли не до того, как он остановился, а остальные двое быстро последовали за ним. Потом состоялся разговор. Не очень хороший разговор. В тот вечер Адриану было не до красноречия или ложного кокетства: он понял, что они с Доном в беде.

— Дай мне эту шляпу. — Гартон протянул руку. — Дай мне эту шляпу, гомик.

— Если дам, ты оставишь нас в покое? — Голос Адриана дрожал от страха, он чуть не плакал, в ужасе переводя взгляд с Ануина на Дюбея и Гартон.

— Просто дай мне эту хреновину!

Адриан протянул ему шляпу. Гартон достал выкидной нож из левого переднего кармана джинсов и разрезал шляпу на две части. Потер обе половинки о свой обтянутый джинсами зад. Потом бросил под ноги и потоптался на них.

Дон Хагарти тем временем подался назад, воспользовавшись тем, что внимание троицы сосредоточилось на Адриане и шляпе, — по его словам, он искал копа.

— А теперь вы позвольте нам... — начал Адриан Меллон, но в тот момент Гартон ударил его по лицу, и Адриана отбросило к парапету моста, высотой до пояса. Он закричал, прижимая руки ко рту. Сквозь пальцы сочилась кровь.

— Ади! — закричал Хагарти и метнулся к другу. Дюбей поставил ему подножку. Гартон ударил его ногой в живот. Хагарти отлетел с тротуара на проезжую часть. Мимо проехала машина. Хагарти поднялся на колени, закричал, привлекая внимание. Машина не сбавила скорости. Водитель, как сказал он Гарденеру и Ривзу, даже не оглянулся.

— Заткнись, гомик! — рывкнул Дюбей и ударил Хагарти в лицо. Тот, теряя сознание, повалился на бок в ливневую канаву.

Чуть позже он услышал голос Криса Ануина, советующий ему убраться и не получить того, что получит его дружок. В своих показаниях Ануин подтвердил, что предупреждал Хагарти.

Хагарти слышал тяжелые удары и крики своего возлюбленного. Адриан кричал, как кролик в силке, сказал он полиции. Хагарти пополз к перекрестку и ярким огням автостанции, но в какой-то момент обернулся, чтобы посмотреть.

Адриана Меллона, ростом в пять футов и пять дюймов и весящего фунтов сто тридцать пять в одежде и с ботинками, бросало от Гартона к Дюбею и Ануину, словно в какой-то игре. Его тело напоминало трясущуюся и заваливающуюся то в одну, то в другую сторону тряпичную куклу. Но упасть на землю ему не давали удары этой троицы. Били они от души, рвали одежду Адриана. Хагарти увидел, как Гартон ударил его в пах. Волосы Адриана падали на лицо. Кровь текла изо рта на рубашку. На правой руке Паук Гартон носил два тяжелых перстня: один — положенный

выпускникам средней школы Дерри, второй — с бронзовыми, переплетенными буквами «Д» и «Б», аббревиатурой «Дэд Багз», металлической группы, которая ему особенно нравилась. Перстни разделяли три дюйма. Они уже разорвали верхнюю губу Адриана и выбили ему три передних зуба.

— Помогите! — завопил Хагарт. — Помогите! Помогите! Они убивают его! Помогите!

Дома на Главной улице стояли темные и затаившиеся. Никто не поспешил на помощь, даже с островка света — автостанции, и Хагарт не понимал, как такое могло быть. Ведь там были люди. Он их видел, когда они с Ади прошли мимо. Неужели никто не хотел помочь? Никто?

— ПОМОГИТЕ! ПОМОГИТЕ! ОНИ ЕГО УБИВАЮТ! ПОЖАЛУЙСТА! РАДИ БОГА!

— Помогите, — прошептал тихий голос слева от Хагарти и тут же сменился хихиканьем.

— Вышвырнем его! — уже кричал Гартон, кричал и смеялся. — Вышвырнем его! За борт!

— Вышвырнем! — смеясь, подхватил Дюбей. — Вышвырнем! Вышвырнем!

— Помогите, — повторил тихий голос, слово это произнес серьезно, но потом вновь засмеялся... как ребенок, который больше не мог сдерживать смех.

Хагарт посмотрел вниз и увидел клоуна — в этот момент Гарденер и Ривз перестали всерьез воспринимать рассказ Хагарти, потому что остальное более всего тянуло на бред сумасшедшего. Потом, правда, у Гарольда Гарденера возникли сомнения. Потом, выяснив, что Ануин тоже видел клоуна (или только сказал, что видел), Гарденер задумался: а вдруг это не бред? У его напарника сомнений не возникло, или он в них не признался.

Клоун, по словам Хагарти, являл собой нечто среднее между Рональдом Макдональдом и клоуном из старых телепрограмм, Бозо... так он, во всяком случае, подумал. Но в дальнейшем Хагарт пришел к выводу, что

клоун выглядел иначе. С нарисованной красной (не оранжевой) улыбкой на белом лице и необычными, сверкающими серебром глазами. Возможно, контактными линзами, но какая-то часть Хагарты думала тогда и продолжала думать, что он увидел естественный цвет глаз клоуна — серебряный. Он был в мешковатом костюме с большими оранжевыми пуговицами-помпонами и в мультишных перчатках.

— Если тебе нужна помощь, Дон, — обратился клоун к Хагарты, — возьми шарик.

Он протянул руку со связкой воздушных шариков.

— Они летают, — продолжил клоун. — Здесь, внизу, мы все летаем. И твой дружок тоже скоро будет летать.

12

— Этот клоун назвал вас по имени? — уточнил Джефф Ривз совершенно бесстрастным голосом. Посмотрел на Гарденера поверх склоненной головы Хагарты, подмигнул.

— Да, — ответил Хагарты, не поднимая головы. — Я знаю, как это выглядит со стороны.

13

— Значит, вы сбросили его в реку, — первым заговорил Баутильер. — «Вышвырнем его», так?

— Не я. — Ануин поднял голову. Одной рукой откинул волосы с глаз и с мольбой посмотрел на них. — Когда я увидел, что они действительно хотят это сделать, я попытался оттащить Стива, потому что этот парень мог разбиться... До воды там футов десять...

Поверхность воды и парапет моста разделяли двадцать три фута. Один из патрульных шефа Рейдмахера уже все замерил.

— Но он, казалось, обезумел. Эти двое продолжали кричать: «Вышвырнем его! Вышвырнем!» — а потом они его подняли. Паук ухватил под мышками, Стив — за штаны под задом, и... и...

14

Когда Хагарти увидел, что они собираются сделать, он бросился к ним, крича во весь голос: «Нет! Нет! Нет!»

Крис Ануин оттолкнул его, и Хагарти плюхнулся на тротуар, так сильно, что лязгнули зубы.

— Тоже хочешь туда? — прошептал он. — Вали отсюда, бэби.

Они сбросили Адриана Меллона с моста в текущую под ним реку. Хагарти услышал всплеск.

— Сматываемся, — сказал Стив Дюбей. Он и Паук уже пятились к автомобилю.

Крис Ануин подошел к парапету и посмотрел вниз. Сначала он увидел Хагарти. Тот, скользя и хватаясь за все, что попадалось под руку, сползал к воде по заросшему сорняками, замусоренному склону. Потом увидел клоуна. Клоун одной рукой вытаскивал Адриана из воды на дальнем берегу; в другой руке он держал связку воздушных шариков. С Адриана стекала вода, он кашлял, стонал. Клоун повернул голову и улыбнулся Крису. По словам Криса, он увидел сверкающие серебряные глаза клоуна и его оскаленные зубы... большущие зубы, так он сказал.

— Как у льва в цирке, чел. Я хочу сказать, такие они были большие.

Потом, по его словам, он увидел, как клоун закинул одну руку Адриана себе за голову.

— И что потом, Крис? — спросил Баутильер. Эта часть вызывала у него скуку. Сказки вызывали у него скуку с восьми лет.

— Не знаю, — ответил Крис. — В этот момент Стив схватил меня и потащил к машине. Но... мне кажется, он вгрызся ему в подмышку. — Он вновь посмотрел на них, в глазах читалась неуверенность. — Мне кажется, именно это он сделал. Вгрызся ему в подмышку. Как будто хотел съесть его, чел. Как будто хотел съесть его сердце.

Нет, сказал Хагарти, когда его познакомили с версией Криса Ануина, изложенной в форме вопросов. Клоун не вытаскивал Ади на дальний берег, по крайней мере он этого не видел... и он признавал, что в тот момент он не мог считаться беспристрастным свидетелем. В тот момент он просто обезумел.

Клоун, по его словам, стоял у дальнего берега, держа в руках тело Адриана, с которого стекала вода. Правая рука Ади находилась за головой клоуна, а лицом клоун действительно утыкался в правую подмышку Ади, но не вгрызался в нее. Клоун улыбался. Хагарти видел, как он выглядывает из-под руки Ади и улыбается.

Руки клоуна напряглись, и Хагарти услышал хруст ломающихся ребер.

Ади закричал.

— Лети с нами, Дон, — донеслись до него слова клоуна, сорвавшиеся с улыбающихся красных губ, а потом рукой в белой перчатке он указал под мост.

Шарики, взлетев, бились о свод моста — не десяток, и не сотня, а тысячи, красных, синих, зеленых и желтых, и на каждом написано «Я ♥ ДЕРРИ».

— Очень хорошо, теперь это точно звучит, как бред. — Ривз вновь подмигнул Гарденеру.

— Я знаю, как это звучит, — ответил Хагарти все тем же мертвым голосом.

— Вы видели все эти шарики? — спросил Гарденер.

Дон Хагарти медленно поднял руки перед собой.

— Я видел их так же ясно, как вижу сейчас мои пальцы. Тысячи шариков. Я не мог разглядеть за ними поверхность моста, так их было много. Они непрерывно колыхались, поднимаясь и опускаясь. И еще был звук. Необычный глуховатый скрип. Это они терлись друг о друга. И нити. Вниз свисал лес белых нитей. Они казались свисающими свободными концами паутины. Клоун утащил Ади под мост. Я видел, как он идет сквозь эти белые нити. Ади ужасно хрипел. Я пошел за ними... а потом клоун обернулся. Я увидел его глаза, и сразу понял, с чем имею дело.

— С чем, Дон? — мягко спросил Гарольд Гарденер.

— Это был Дерри, — ответил Дон Хагарти. — Это был сам город.

— И что вы сделали потом? — На этот раз вопрос последовал от Ривза.

— Я убежал, тупая ты срань. — И Хагарти разрыдался.

Гарольд Гарденер держал свои сомнения при себе до 13 ноября. На следующий день в окружном суде Дерри начинался суд над Джоном Гартоном и Стивеном Дюбеем, обвиняемыми в убийстве Адриана Меллона. Но 13 ноября он пошел к Тому Баутильеру, потому что хотел поговорить о клоуне. Баутильер такого желания не испытывал, однако увидел, что без должных наставлений Гарденер может сотворить какую-то глупость, и согласился поговорить.

— Никакого клоуна не было, Гарольд. В ту ночь в роли клоунов выступили те три парня. И тебе это известно так же хорошо, как и мне.

— У нас два свидетеля.

— Все это бред сивой кобылы. Ануин решил вплести в эту историю однорукого мужчину, чтобы прозвучала она следующим образом: «Мы не убивали этого бедного гомика, это сделал однорукий мужчина». Решил, как только понял, что своими показаниями он подвел себя и дружков под монастырь. У Хагарты была истерика. Он находился рядом и смотрел, как эти парни убивали его лучшего друга. Меня бы не удивило, если б в таком состоянии он увидел летающие тарелки.

Но Баутильер знал, что это не так. Гарденер видел это по его глазам, и отговорки заместителя окружного прокурора только раздражали.

— Перестаньте. Мы говорим о независимых свидетелях. Не надо мне вешать лапшу на уши.

— Ты хочешь поговорить о лапше? Ты говоришь мне, что веришь в вампира-клоуна под Мостом Главной улицы? Потому что, по моему разумению, это и есть лапша на уши.

— Не верю, но...

— Или в то, что Хагарты увидел миллион воздушных шариков под мостом, и каждый с той же надписью, что и на шляпе его любовника? Потому что и это я полагаю лапшой...

— Нет. Разумеется, н...

— Тогда чего тебя это волнует?

— Прекратите этот перекрестный допрос! — взорвался Гарденер. — Они оба описали клоуна одинаково, и ни один не знал, что говорил другой.

Баутильер сидел за столом, вертел в руке карандаш. Но тут положил карандаш, встал, подошел к Гарольду Гарденеру. Коп возвышался над заместителем окружного прокурора на добрых пять дюймов, но отступил на шаг под напором злости Баутильера.

— Ты хочешь, чтобы мы проиграли это дело, Гарольд?

— Нет. Разумеется, н...

— Ты хочешь, чтобы эти двуногие гниды вышли на свободу?

— Нет!

— Ладно. Хорошо. Раз уж в этом у нас полное согласие, я скажу тебе, что думаю. Да, вероятно, в ту ночь под мостом был человек. Может, даже в клоунском костюме, хотя я имел дело с достаточным числом свидетелей, чтобы предположить, что это был какой-то бродяга, надевший найденную на помойках одежду. Я думаю, он искал оброненную мелочь или объедки, недоеденный бургер, брошенный с моста, крошки в пакете из-под чипсов «Фрито». Остальное дополнило их воображение. Такое возможно?

— Не знаю, — ответил Гарольд. Он хотел бы согласиться с доводами Баутильера, но, учитывая степень совпадения двух описаний... Нет. Не складывалось.

— Подведем итоги. Мне без разницы, был ли там Кинки-Клоун,^[16] парень в костюме Дяди Сэма или Хуберт — счастливый гомик.^[17] Если мы введем этого человека в процесс, их адвокат вцепится в него, не успеешь ты и глазом моргнуть. Он заявит, что эти невинные барашки, а они будут сидеть с короткими стрижками и в новеньких костюмах, не сделали ничего такого, только ради шутки сбросили этого гея Меллона с моста. Он укажет, что Меллон после падения в реку был жив. Это подтвердят показания Хагартти и Ануина. Его клиенты не совершали убийства, нет, нет! Это дело рук

психа в клоунском костюме. Если мы введем этого человека в процесс, так оно и будет, и ты это знаешь.

— Ануин все равно изложит свою версию.

— Но Хагарти — нет, — указал заместитель окружного прокурора. — Потому что он понимает. А без показаний Хагарти кто поверит Ануину?

— Есть еще мы, — горечь, прозвучавшая в голосе Гарденера, изумила его самого, — но, полагаю, мы не скажем.

— Да перестань! — взревел Баутильер, вскинув руки. — Они убили его! Не просто сбросили с моста в реку! У Гартона был выкидной нож. На теле Меллона нашли семь колотых ран, в том числе один удар, нанесенный в левое легкое, а два — в яйца. Размер ран соответствует лезвию ножа Гартона. Меллону сломали четыре ребра — это сделал Дюбей своим медвежьим объятьем. Его покусали, все так. Укусы обнаружены на руках, левой щеке, шее. Я думаю, это работа Ануина и Гартона, хотя мы четко идентифицировали только один укус, и недостаточно четко, чтобы выходить с ним в суд. И действительно, из правой подмышки вырван большой кусок мяса, но что с того? Один из этой троицы любил кусаться. Возможно, у него возник крепкий стояк, когда он это делал. Я готов спорить, что это Гартон, хотя доказать мы ничего не сможем. И Меллон лишился мочки уха. — Баутильер замолчал, сверля взглядом Гарольда. — Если в эту историю просочится клоун, мы никогда не сможем добиться для них обвинительного приговора. Ты этого хочешь?

— Нет, я же сказал.

— Этот парень, конечно, был гомиком, но он никому ничего дурного не делал, — продолжил Баутильер. — И тут, бац! — появляются эти три говнюка в саперных сапогах и лишают его жизни. Я собираюсь отправить их в тюрьму, и если услышу, что в Томастоне их трахнули в жопу, то pošлю им открытки, выразив надежду, что у того, кто это сделал, был СПИД.

«Очень уж праведный у тебя гнев, — подумал Гарденер. — И этот обвинительный приговор будет прекрасно смотреться в твоём послужном списке, когда двумя годами позже ты захочешь баллотироваться на более высокий пост».

Но он ушел, больше ничего не сказав, потому что тоже хотел, чтобы их посадили.

18

Джона Уэббера Гартон признали виновным в убийстве по предварительному сговору и назначили наказание от десяти до двадцати лет лишения свободы с отбыванием в Томастонской тюрьме штата.

Стивена Бишоффа Дюбея признали виновным в убийстве по предварительному сговору и приговорили к пятнадцати годам лишения свободы с отбыванием в Шоушенкской тюрьме штата.

Кристофера Филиппа Ануина судили отдельно как несовершеннолетнего и признали виновным в убийстве без отягощающих обстоятельств. Его приговорили к шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии для подростков в Саут-Уиндэме условно.

На все три приговора были поданы апелляции, а потому, когда писалась эта книга, Гартон и Дюбей едва ли не каждый день появлялись в Бэсси-парк, глазели на девушек или играли в «Брось монетку», [\[18\]](#) не так уж и далеко от того места, где нашли изуродованное тело Адриана Меллона, покачивающееся на воде у одной из опор Моста Главной улицы.

Дон Хагарт и Крис Ануин уехали из города.

На судебном процессе (речь о Гартоне и Дюбее) никто не упомянул про клоуна.

Глава 3

Шесть телефонных звонков (1985 г.)

1

Стэнли Урис принимает ванну

Как потом говорила Патришия Урис матери, ей следовало понять: что-то не так. Следовало понять, потому что Стэнли Урис никогда не принимал ванну ранним вечером. Он принимал душ каждое утро и иногда любил полежать в ванне поздним вечером (с журналом в одной руке и банкой холодного пива — в другой), но ванна в семь вечера... совсем не в его манере.

И еще эта история с книгами. Ему бы порадоваться. А вместо этого, она не понимала почему, он вроде бы расстроился и выглядел подавленным. За три месяца до того ужасного вечера Стэнли узнал, что его друг детства стал писателем... не настоящим писателем, объяснила Патришия своей матери, а романистом. Автором книг значился Уильям Денбро, но Стэнли иногда называл его Заика Билл. Он прочитал практически все книги Денбро, если на то пошло, читал последнюю в тот вечер, когда принимал роковую ванну, — вечер 28 мая 1985 года. Патти сама как-то взяла одну из ранних книг Денбро, из любопытства, но отложила, осилив только три главы.

Это был не просто роман, как она позже скажет матери, это была страхкнига. Так она это произнесла, одним словом, как произносила секскнига. Милая и добрая женщина, Патти не умела четко и ясно выразить свои мысли... ей так много хотелось рассказать матери об этой книге... как она ее напугала, почему расстроила, но не получилось. «В ней полным-полно чудовищ, полным-полно чудовищ, преследующих маленьких детей.

Еще и убийства, и... я не знаю... много плохого и боли, все такое (надо сказать, книга показалась ей почти что порнографической; это слово ускользало от нее, потому что в реальной жизни она ни разу его не произнесла, хотя и знала, что оно означает). Но Стэн заново открыл для себя одного из друзей детства... Говорил, что напишет ему, но я знала, что он этого не сделает... Я знала, что от этих книг ему тоже становится не по себе... и... и... и...»

Тут Патти Урис начала плакать.

В тот вечер (по прошествии примерно двадцати семи с половиной лет с того дня в 1957 году, когда Джордж Денбро встретил клоуна Пеннивайза) Стэнли и Патти сидели в маленькой гостиной их дома в пригороде Атланты. Работал телевизор. Пенни удобно устроилась в кресле на двоих, деля внимание между вязанием и любимой телевикториной «Семьи-соперники».^[19] Она просто обожала Ричарда Доусона и думала, что цепочка карманных часов, с которой он всегда появлялся, ужасно сексуальна, хотя никто и никогда не вырвал бы у нее такого признания. Нравилось ей и шоу, потому что она практически всегда угадывала самый популярный ответ (в «Семьях-соперниках» правильных ответов не было — только самые популярные). Однажды она спросила Стэна, почему вопросы, которые ей представлялись такими легкими, обычно вызывали массу проблем у семей, участвующих в шоу. «Возможно, дело в том, что все делается сложнее, когда ты под этими прожекторами, — ответил Стэнли, и ей показалось, что по его лицу пробежала тень. — Все гораздо труднее, когда ты у всех на виду. Вот когда у тебя перехватывает дыхание. Когда все взаправду».

Скорее всего так оно и было, решила она. Стэну иногда удавалось так глубоко проникнуть в сущность человеческой природы. Гораздо глубже, полагала она, чем его давнему другу Уильяму Денбро. Тот разбогател, издав несколько страхкниг, цеплявших людские инстинкты.

Не то чтобы у Урисов дела шли плохо. Жили они в прекрасном пригороде. Дом, купленный в 1979 году за 87 тысяч долларов, теперь могли быстро и без проблем продать за 165 тысяч. Нет, она не собиралась этого делать, но приятно осознавать, что за те годы, что они здесь живут, дом заметно подорожал. Иногда, возвращаясь на своем «вольво» из торгового центра «Фокс Ран» (Стэнли ездил на «мерседесе» с дизельным двигателем —

подшучивая над мужем, она называла автомобиль седанли) и видя свой дом, величественно возвышающийся за низкой тисовой изгородью, она думала: «И кто здесь живет? Ой, так это я живу! Здесь живет миссис Стэнли Урис!» Но мысль эта была не только счастливой полностью — к ней подмешивалась такая неистовая гордость, что порой Патти начинало мутить. Когда-то давно, видите ли, жила-была одинокая восемнадцатилетняя девушка, Патришия Блум, и ее не пустили на вечеринку по случаю окончания школы, которая проводилась в загородном клубе под Глойнтоном, штат Нью-Йорк, где она жила и училась. Не пустили Патти на вечеринку, само собой, потому, что ее фамилия рифмовалась со словом плюм.^[20] Произошло это с ней, костлявой маленькой жидовской сливой, в 1967 году, и такая дискриминация, понятное дело, нарушала закон (ха-ха-ха-ха), а кроме того, все это былем поросло. Да только для какой-то ее части не поросло. Какой-то части Патти предстояло до конца дней возвращаться к автомобилю рядом с Майклом Розенблаттом, слушая, как хрустит гравий под ее туфельками на высоких каблуках и его взятыми напрокат черными ботинками, возвращаться к автомобилю его отца, который Майкл одолжил на вечер и полировал всю вторую половину дня. Какой-то ее части предстояло всегда идти рядом с Майклом, одетым в белый, взятый напрокат смокинг... и как он сверкал в ту теплую весеннюю ночь! Сама она пришла на вечеринку в светло-зеленом вечернем платье, и мать заявила, что в нем она выглядит, как русалка, и сама идея жидовки-русалки весьма забавна, ха-ха-ха-ха. Они возвращались к автомобилю, высоко подняв головы, и она не плакала (тогда — не плакала), но понимала, что они не возвращаются, нет, конечно, не возвращались. Что они делали на самом деле, так это линяли (бежали, то бишь), что рифмуется с воняли. Никогда в жизни они так остро не ощущали своего еврейства, чувствуя себя ростовщиками, пассажирами вагонов для скота, чувствуя себя пархатыми, длинноносыми, с болезненной, желтоватой кожей; чувствуя себя презренными жидами. Им хотелось злиться, но злиться они не могли. Злость пришла позже, когда уже не имела значения. В тот момент она могла ощущать только стыд, только душевную боль. А потом кто-то засмеялся. Громкий, пронзительный, звенящий, смех этот напоминал последние аккорды бравурной пьесы для фортепьяно, и в машине она смогла зарыдать, ох, будьте уверены, эта жидовка-русалка, чья фамилия рифмовалась со словом «плюм», рыдала, как безумная. Майк Розенблатт неуклюже обнял ее за шею, чтобы успокоить, но она вывернулась из-под его руки, чувствуя себя пристыженной, чувствуя себя грязной, чувствуя себя еврейкой.

Дом, такой красивый, возвышающийся за вечнозелеными изгородями, поднимал настроение, но не до конца. Боль и стыд оставались, и даже тот факт, что их считали своими в этом спокойном, благополучном районе, не мог заглушить скрипа гравия под их обувью на той бесконечной прогулке. Не заглушало этого скрипа и членство в загородном клубе, где метрдотель всегда уважительно приветствовал их: «Добрый вечер, мистер и миссис Урис». Возвращаясь, она не выходила из машины, ссутулившись над рулем «вольво» модели 1984 года, смотрела на свой дом, окруженный огромной зеленой лужайкой, и часто (даже слишком часто) думала о том пронзительном смехе. И надеялась, что девушка, которая тогда так пронзительно смеялась, теперь живет в паршивом дощатом домишке, с мужем-гоем, который поколачивает ее, что она трижды беременела и всякий раз все заканчивалось выкидышем, что муж изменял ей с женщинами, которые болели чем-то венерическим, что у нее смещены позвоночные диски, распухают суставы, а грязный смеющийся язык покрывают язвы.

Она ненавидела себя за такие мысли, за такие немилосердные мысли, и обещала, что и сама станет лучше, перестанет пить постылые горькие коктейли. Проходили месяцы, и подобные мысли не заглядывали ей в голову. Она уже думала: может, все наконец-то осталось в прошлом. Я больше не восемнадцатилетняя девушка. Я — женщина тридцати шести лет. От девушки, которая слышала бесконечный скрип гравия под ногами, от девушки, которая выскользнула из-под руки Майка Розенблатта, когда тот пытался обнять ее, чтобы успокоить, потому что это была еврейская рука, Патти отделяло полжизни. Эта глупая маленькая русалка мертва. Теперь я могу забыть ее и быть самой собой. Ладно. Хорошо. Отлично. А потом где-то, когда-то, скажем, в супермаркете, она внезапно слышала тот самый пронзительный смех, доносящийся из соседнего прохода, и по спине ее бежали мурашки, соски затвердевали до боли, руки сжимали ручку тележки или сцеплялись в замок, и она думала: кто-то только-только сказал кому-то, что я — еврейка, что я — всего лишь большеносая пархатая жиловка, что Стэнли — тоже большеносый пархатый жид. Он — бухгалтер, а евреи, само собой, сильны в математике, и мы приняли их в загородный клуб, нам пришлось, потому что в 1981 году большеносый жиловский гинеколог подал иск и выиграл процесс, но мы смеемся над ними, мы смеемся, смеемся и смеемся. Или она просто слышала воображаемый скрип гравия и думала: «Русалка! Русалка!»

А потом ненависть и стыд, возвращаясь, накатывали лавиной, как боль при мигрени, и она боялась не только за себя, но за все человечество. Обратни. В той книге Денбро (которую она пыталась читать, но отложила) рассказывалось об обратнях. Обратни, такая хрень. Да что этот человек мог знать об обратнях?

Но большую часть времени она не пребывала в таком отвратительном настроении... не пребывала. Она любила своего мужа, любила свой дом, и обычно могла любить жизнь и себя. Все шло хорошо. Так было, разумеется, не всегда — всегда хорошо не бывает, так ведь? Когда она приняла обручальное кольцо Стэнли, ее родители разозлились и опечалились. Они познакомились на вечеринке женского клуба. Он перевелся в ее институт из университета Нью-Йорка, где учился на полученную от государства стипендию. Их познакомила общая подруга, а к концу вечера Патти уже подозревала, что любит его. К каникулам она в этом больше не сомневалась. Весной Стэнли предложил ей маленькое бриллиантовое колечко с продетой сквозь него маргариткой, и она его приняла.

В конце концов, несмотря на сомнения, родители согласились с ее выбором. Ничего другого сделать они и не могли, хотя очень скоро Стэнли Урису предстояло отправиться в вольное плавание по волнам рыночной экономики, которые кишели молодыми бухгалтерами. Причем в этом плавании он не мог опереться на семейные финансы, и их единственная дочь становилась заложницей его успеха. Патти уже исполнилось двадцать два, она стала женщиной, и в самом скором времени ей предстояло стать бакалавром гуманитарных наук.

— Мне придется содержать этого чертова очкарика до конца моей жизни, — услышала как-то вечером Патти гневную тираду отца. Ее родители ходили куда-то на обед, и отец выпил лишнего.

— Ш-ш-ш, она тебя услышит, — донесся до нее голос Рут Блум.

Патти, возненавидевшая их обоих, лежала без сна далеко за полночь, с сухими глазами, ее попеременно бросало то в жар, то в холод. Два последующих года она пыталась избавиться от этой ненависти; ненависти в ней и без того хватало. Иногда, глядя в зеркало, она видела, что эта ненависть делает с ее лицом, какие рисует на нем морщины. Эту битву она

выиграла. Ей помог Стэнли.

Его родителей тоже тревожила их свадьба. Они, разумеется, не верили, что Стэнли суждено жить в нищете, но думали, что «дети слишком торопятся». Дональд Урис и Андреа Бертоли сами поженились, когда им было чуть больше двадцати, но как-то забыли об этом.

Только Стэнли демонстрировал уверенность в себе, уверенность в своем будущем, его ни в коей мере не тревожили трудности, которые, по словам родителей, грозили «детям». И в конце концов оправдалась его уверенность, а не их страхи. В июле 1972 года, едва на дипломе Патти просохли чернила, она уже нашла себе работу преподавателя стенографии и делового английского в Трейноре, маленьком городке в сорока милях южнее Атланты. Когда она думала о том, как получила эту работу, выходило, что без помощи сверхъестественных сил тут не обошлось. Она составила себе список из сорока вакансий, собранных по журналам для учителей, потом написала сорок писем за пять вечеров (по восемь за вечер) со своим резюме и с просьбой прислать более подробную информацию о работе. Получила двадцать два ответа, что место уже занято. В некоторых более развернутое изложение требований показало, что для нее эта работа не подходит: она только потеряет свое и чужое время. В итоге осталось двенадцать вакансий. И каждая выглядела не лучше и не хуже другой. Стэнли подошел, когда она смотрела на них и гадала, как ей удастся заполнить двенадцать заявлений о приеме на работу и не рехнуться. Он глянул на ворох бумаг у нее на столе, а потом постучал пальцем по письму директора Трейнорской школы, которое выглядело для нее точно таким же, как и все остальные.

— Вот оно.

Патти подняла на него глаза, изумленная определенностью, которая слышалась в его голосе.

— Ты знаешь о Джорджии что-то такое, чего не знаю я?

— Нет. Побывал там только раз, да и то в кино.

Она смотрела на него, изогнув бровь.

— «Унесенные ветром». Вивьен Ли. Кларк Гейбл. «Я подумаю об этом за-

автра, потому что за-автра будет другой день». Я говорю, как будто родом с Юга, Патти?

— Да. Из Южного Бронкса. Если ты ничего не знаешь о Джорджии и никогда там не был, каким образом...

— Потому что все сложится.

— Ты не можешь этого знать, Стэнли.

— Конечно же, могу, — возразил он. — Знаю. — Глядя на него, Патти видела, что он не шутит. Его глаза потемнели, словно смотрел он в себя, консультируясь с каким-то внутренним механизмом, который щелкал и постукивал, то есть работал как положено, да только принцип действия этого механизма Стэнли понимал не больше, чем обычный человек понимает, как работают его наручные часы.

— Черепаха не мог нам помочь, — внезапно сказал он. Четко и ясно. Она его слышала. Этот взгляд вовнутрь, это удивленное недоумение по-прежнему отражалось на его лице, и ее это напугало.

— Стэнли? О чем ты? Стэнли?

Он дернулся. Она ела персики, просматривая заявления, и его рука задела блюдо. Оно упало на пол и разбилось. Его взгляд прояснился.

— Ох, черт! Извини.

— Все нормально. Стэнли... что ты такое говорил?

— Я забыл, — ответил он. — Но думаю, мы должны серьезно рассмотреть Джорджию, любовь моя.

— Но...

— Доверься мне, — оборвал он ее, и Патти доверилась.

Ее собеседование прошло блестяще. Она знала, что получила эту работу, когда садилась в поезд, чтобы вернуться в Нью-Йорк. Заведующему кафедры бизнеса она сразу понравилась, как и он ей. Все получилось как

нельзя лучше. Письмо с подтверждением пришло неделей позже. Трейнорская объединенная школа предлагала ей 9200 долларов в год и контракт на испытательный срок.

— Тебе придется голодать, — предрек Герберт Блюм дочери, когда она сказала, что собирается согласиться на эти условия. — И тебе придется голодать на жаре.

— Фигушки, Скарлетт, — улыбнулся Стэнли, когда она передала ему слова отца. Она была в ярости, чуть не плакала, но тут начала смеяться, и Стэнли заключил ее в объятия.

Жара их донимала, но от голода они не страдали. Они поженились 19 августа 1972 года. Патти Блюм пришла к первой брачной ночи девственницей. И когда обнаженной скользнула под прохладную простыню в курортном отеле Поконоса, в голове у нее бушевала гроза — молнии желания и страсти били из черных облаков страха. Стэнли присоединился к ней, с твердым, как дубинка, пенисом, торчащим из рыжеватых лобковых волос, и она прошептала: «Не сделай мне больно, дорогой».

— Я никогда не причиню тебе боль, — ответил он, обнимая ее, и сдерживал свое обещание до 28 мая 1985 года — когда ранним вечером принял ванну.

С преподаванием у нее сразу все пошло хорошо. Стэнли нашел работу — устроился водителем грузовика в пекарню, получая сто долларов в неделю. В ноябре того же года, когда открылся торговый центр «Трейнор Флетс», он перешел туда, в отделение «Эйч-энд-Ар Блок», [\[21\]](#) уже на сто пятьдесят долларов в неделю. На пару их годовой доход составил 17 тысяч долларов, для них — королевское состояние, поскольку в те времена бензин стоил тридцать пять центов за галлон, а батон белого хлеба — на десять центов дешевле. В марте 1973 года, без шума и фанфар Патти перестала принимать противозачаточные таблетки.

В 1975 году Стэнли ушел из «Эйч-энд-Ар Блок» и открыл собственную фирму. Их родители сошлись на том, что решение это глупое. Не то чтобы Стэнли не следовало открывать собственную фирму, ни бже мой, никто не говорил, что ему не следовало открывать собственную фирму! Но он сделал это слишком рано, с этим соглашались все четверо, и на Патти

ложились слишком большая финансовая нагрузка. «По крайней мере, пока этот сосунок не обрюхатит ее, — как-то вечером после обильных возлияний сказал Герберт Блюм своему брату на кухне, — а потом, вероятно, мне придется содержать их». Старшие Блюмы и Урисы достигли консенсуса в том, что человеку нельзя думать о собственном бизнесе, пока он не войдет в возраст зрелости и рассудительности, дожив, скажем, до семидесяти восьми лет.

И вновь Стэнли проявил сверхъестественную уверенность в себе. Да, он был молод, умен, умел находить общий язык с людьми. Да, он завел полезные знакомства, работая в «Эйч-энд-Ар Блок». Все это воспринималось как само собой разумеющееся. Но он не мог знать, что компания «Корридор видео», пионер в только нарождающемся рынке видеокассет, собралась обосноваться на огромном участке свободных земель, расположенном в каких-то десяти милях от пригорода, куда Урисы переехали в 1979 году, не мог знать, что «Корридор» потребуется независимое маркетинговое исследование менее чем через год после того, как компания обосновалась в Трейноре. Но даже если Стэнли каким-то образом получил эти сведения, он не мог знать наверняка, что они отдадут свой заказ молодому очкастому еврею, который к тому же был и чертов янки — еврею, с лица которого не сходила улыбка, которого отличала пружинистая походка, который в свободное от работы время носил клешенные джинсы и на лице которого оставались следы юношеских угрей. И однако они отдали ему. Отдали. И Стэн, казалось, знал об этом с самого начала.

Выполнение заказа «КВ» привело к тому, что ему предложили перейти в компанию на начальный оклад 30 тысяч долларов в год.

— И это действительно только начало, — в тот же вечер, в постели, поделился Стэнли с Патти. — Они будут расти, как кукуруза в августе, милая моя. Если никто не взорвет мир в ближайшие десять лет, встанут в один ряд с «Кодак», «Сони» и «Эр-си-эй».

— И что ты собираешься делать? — спросила Патти, уже зная ответ.

— Я собираюсь сказать им, что с ними приятно иметь дело, — ответил он, и рассмеялся, и притянул ее к себе, и поцеловал. Через какое-то время вошел в нее, и последовали оргазмы... первый, второй, третий, как яркие

ракеты, взмывающие в ночное небо... но не ребенок.

По работе в «Корридор видео» ему приходилось контактировать с самыми богатыми и влиятельными людьми Атланты, и Урисы, к собственному изумлению, обнаружили, что большинство из них вполне достойные люди. С таким благорасположением, добротой и открытостью на Севере им сталкиваться практически не приходилось. Патти помнила, как Стэнли однажды написал отцу и матери: «Самые богатые люди Америки живут в Атланте, штат Джорджия. Я собираюсь помочь некоторым из них стать еще богаче, и они собираются помочь мне стать богаче, и никто не будет мне хозяином, кроме моей жены Патришии, а поскольку я и так принадлежу ей, то полагаю, это хорошо».

К тому времени, когда они уехали из Трейнора, Стэнли акционировал свою компанию, и под его началом работали шесть человек. В 1983 году по уровню дохода они ступили на незнакомую территорию — территорию, о которой до Патти доходили только смутные слухи. То была сказочная земля ШЕСТИЗНАЧНЫХ СУММ. И произошло это с той же легкостью, с какой в субботнее утро надевается пара кроссовок. Иногда ее это пугало. Однажды она даже позволила себе пошутить насчет сделки с дьяволом. Стэнли так смеялся, что чуть не задохнулся, но она не видела в этом ничего смешного, и полагала, что тут не до смеха.

Черепаша не мог нам помочь.

Иногда, без всякой на то причины, Патти просыпалась с этой мыслью, которая застревала в голове, как последний фрагмент в остальном забытого сна, и поворачивалась к Стэнли, чтобы коснуться его, убедиться, что он по-прежнему здесь, рядом.

Это была хорошая жизнь — никакого безудержного пьянства, секса на стороне, наркотиков, скуки и жарких споров о том, что делать дальше. Омрачало все только одно облачко. О наличии этого облачка первой упомянула ее мать. И если подумать, не приходилось сомневаться, что только ее мать могла указать на это первой. Упоминание появилось в форме вопроса в одном из писем Рут Блум. Она писала Патти раз в неделю, и то

самое письмо пришло ранней осенью 1979 года. Пришло со старого трейнорского адреса, и Патти читала его в гостиной их нового дома, окруженная картонными коробками из-под вина, из которых вываливались вещи, чувствуя себя одинокой, изгнанной, лишенной корней и всех прав.

В принципе, письмо это не отличалось от обычного письма Рут Блум из дома: четыре плотно исписанные странички с шапкой на каждой «ПРОСТО НЕСКОЛЬКО СТРОК ОТ РУТ». Ее почерк тянул на нечитаемый, и Стэнли однажды пожаловался, что не может разобрать ни слова. «А тебе оно надо?» — отреагировала Патти.

Письмо переполняли фирменные мамины новости: Рут Блум захватывала широкий круг родственников во всех их взаимоотношениях. Многие из тех, о ком писала мать, начинали выцветать в памяти Патти, как случается с фотографиями старого альбома, но для Рут все они оставались четкими и яркими. Забота об их здоровье и интерес к их разнообразным делам не ослабевали, и ее прогнозы всегда оставались мрачными. У отца Патти по-прежнему слишком часто болел живот. Он утверждал, что это всего лишь несварение желудка, а мысль о том, что у него может быть язва, писала Рут, пришла бы ему в голову лишь после того, как он начал бы харкать кровью, а может, не пришла бы и тогда. Ты знаешь своего отца, дорогая — он работает как вол, но иногда и думает, как вол, прости, Господи, за такие слова. Рэнди Харленген перевязала себе трубы, из ее яичников вырезали кисты, большие, как мячи для гольфа, ничего злокачественного, слава богу, но двадцать семь кист, можешь себе такое представить! Это все нью-йоркская вода, она в этом не сомневалась... да, конечно, и загрязненный воздух, но Рут полагала, что все беды со здоровьем от плохой воды. С ней в организм человека попадало черт знает что. Рут сомневалась, знала ли Патти, как часто она благодарила Бога за то, что «вы, дети», живете в сельской местности, где воздух и вода (но особенно вода) чище и полезнее (Рут весь Юг, включая Атланту и Бирмингем, представлялся сельской местностью). Тетя Маргарет вновь судилась с энергетической компанией. Стела Фланагэн опять вышла замуж, некоторых людей ничего не учит, даже собственный опыт. Ричи Хубера снова уволили.

И в середине этой болтовни (зачастую язвительной), льющейся как из ведра, посреди абзаца, никак не связав ни с тем, что предшествовало, ни с тем, что следовало, Рут небрежно задала Ужасный Вопрос: «Так когда же вы со Стэном сделаете нас бабушкой и дедушкой? Мы уже готовы начать

баловать внука (или внучку). И, на случай, если ты этого не заметила, Патти, мы не молодеем». Далее она написала, что дочь Бракнеров, которые жили по соседству, отправили домой из школы, потому что она пришла без бюстгальтера и в просвечивающей блузке.

В минорном настроении, тоскуя по старому дому в Трейноре, чувствуя неуверенность в сегодняшнем дне и боясь того, что ждет впереди, Патти пошла в ту комнату, которой предстояло стать их спальней, и легла на матрац. Пружинный каркас кровати еще стоял в гараже, и матрас, лежащий на голом, не застеленном ковром полу, казался артефактом, выброшенным на незнакомый песчаный берег. Она положила голову на руки и проплакала целых двадцать минут. Она чувствовала, что слезы все равно придут. Письмо матери лишь приблизило их появление, точно так же, как пыль, попавшая в нос, провоцирует чихание.

Стэнли хотел детей. Она хотела детей. Их мнения по этому вопросу полностью совпадали. Как, впрочем, и во многом другом, большом и малом: они восхищались фильмами Вуди Аллена, считали, что необходимо более или менее регулярно посещать синагогу, голосовали за одну партию, не жаловали марихуану... В их доме в Трейноре одну свободную комнату они разделили пополам. В левой половине Стэнли поставил стол для работы дома и кресло для чтения. В правой стояли швейная машинка и карточный столик, на котором Патти складывала паззлы. Насчет этой комнаты у них существовала договоренность, такая нерушимая, что они редко упоминали о ней. Точно так же, как не говорили о том, что у них есть носы и они носят обручальные кольца. Когда-нибудь эту комнату они передадут Энди или Дженни. Но где ребенок? Швейная машинка, корзины с материей, карточный столик и письменный стол, кресло для чтения оставались на своих местах, с каждым месяцем укрепляя свои позиции, настаивая на законности своего присутствия в этой комнате. Так она думала, хотя до конца мысль эта у нее так и не оформилась, совсем как слово «порнографическая». Эту мысль она не могла окончательно облечь в слова. Но она помнила, как однажды, когда пришли месячные, сдвинула дверцу шкафчика под мойкой, чтобы взять гигиеническую прокладку. Помнила, как посмотрела на упаковку прокладок «Стейфри» и подумала, что упаковка выглядит очень уж самодовольной, будто говорит: «Привет, Патти! Мы твои дети. Мы единственные дети, которые будут у тебя, и мы голодны. Покорми нас. Покорми нас своей кровью».

В 1976-м, через три года после того, как она выбросила противозачаточные таблетки, они поехали в Атланту, к доктору Харкавею.

— Мы хотим знать, что не так, — сказал Стэнли, — и мы хотим знать, есть ли у нас возможность что-то с этим сделать.

Они сдали все анализы. Выяснилось, что сперматозоиды Стэнли подвижны, яйцеклетки Патти способны к оплодотворению, все каналы, которым положено быть открытыми, — открыты.

Харкавей, который не носил обручального кольца, а радостным и розовощеким лицом более всего напоминал студента-дипломника, только что вернувшегося с каникул, проведенных на горнолыжных склонах в Колорадо, сказал им, что причина, возможно, в нервах. Сказал им, что такая проблема встречается у многих. Сказал, что, возможно, в таких случаях, которые сродни физической импотенции, потребуется психологическая коррекция — чем больше ты хочешь, тем меньше у тебя получается. Они должны расслабиться. Они должны, если смогут, во время секса полностью забыть о продолжении рода.

Всю дорогу домой Стэн сидел мрачным. Патти спросила почему.

— Я никогда этого не делаю.

— Чего не делаешь?

— Не думаю о продолжении рода в процессе.

Она начала смеяться, хотя за секунду до этого ощущала одиночество и испуг. А той же ночью, в постели, когда она не сомневалась, что Стэнли давно уже спит, он испугал ее, заговорив из темноты. Голос звучал ровно, но чувствовалось, что он давится слезами.

— Дело во мне. Это моя вина.

Она подкатилась к нему, нащупала, обняла.

— Не говори глупостей.

Но ее сердце билось часто, слишком часто. И причина заключалась не в

том, что он напугал ее, внезапно заговорив. Он словно заглянул в ее мысли и прочитал тайный приговор, который она вынесла и хранила там, сама того не зная до этой минуты. Без всякого повода, без всякой на то причины, она почувствовала (она знала), что он прав. Что-то было не так, и не с ней. С ним. В нем.

— Не будь дураком, — яростно прошептала Патти в его плечо. Он чуть вспотел, и она вдруг осознала, что он боится. Страх шел от него холодными волнами. Она словно лежала голой не рядом с мужем, а перед открытым холодильником.

— Я не дурак, и не говорю глупостей, — ответил он тем же голосом, ровным и одновременно переполненным эмоциями. — Ты это знаешь. Причина во мне. Но я не знаю, какая именно.

— Ты не можешь этого знать. — Голос ее звучал строго и сердито — как голос ее матери, когда та чего-то боялась. И пусть Патти отчитывала мужа, по телу ее пробежала дрожь, оно дернулось, как от удара хлыста. Стэнли это почувствовал и еще крепче обнял ее.

— Иногда, иногда я знаю почему. Иногда мне снится сон, дурной сон, я просыпаюсь и думаю: «Теперь я знаю. Я знаю, **что** неправильно». Я не про то, что ты не можешь забеременеть — про все. Все, что неправильно в моей жизни.

— Стэнли, в твоей жизни нет ничего неправильного!

— Я не говорю про внутренний мир, — ответил он. — Внутри все чудесно. Я о том, что снаружи. Что-то должно закончиться, и этого нет. Я просыпаюсь от этих снов и думаю: «Моя прекрасная жизнь — всего лишь глаз какого-то тайфуна, которого я не понимаю». Я боюсь. А потом все это... тает. Как и все сны.

Патти знала, что иногда его мучили кошмары. Пять или шесть раз она просыпалась от того, что он стонал и метался. Вероятно, это случалось, и когда она не просыпалась. Если она тянулась к нему, спрашивала, что ему приснилось, он говорил одно и то же: «Не могу вспомнить». Потом на ощупь искал на прикроватном столике сигареты и курил, сидя в постели, пока остатки кошмара не уйдут сквозь поры, как пот.

Зачать ребенка они так и не могли. Вечером 28 мая 1985 года (в тот самый вечер, когда он решил принять ванну) их родители все еще ждали, когда же они станут бабушками и дедушками. Свободная комната оставалась свободной. Прокладки «Стейфри макси» и «Стейфри мини» все так же лежали на привычных местах в шкафчике под раковиной в ванной. Месячные приходили в положенный день. Ее мать, занятая главным образом своими делами, но не забывшая полностью о больной для дочери теме, перестала задавать этот вопрос как в своих письмах, так и в те дни, когда Патти и Стэнли бывали в Нью-Йорке (они приезжали туда дважды в год). Смолкли и шутливые вопросы о том, принимают ли они витамин Е. Стэнли тоже больше не говорил про детей, но иногда, когда он не знал, что она на него смотрит, Патти видела тень на его лице. Какую-то тень. Словно он отчаянно пытается что-то вспомнить.

Если не считать этого единственного облачка, жили они без особых забот и тревог до того момента, как вечером 28 мая, аккуратно во время программы «Семьи-соперники», зазвонил телефон. Рядом с Патти лежали шесть рубашек Стэна, две ее блузки, нитки-иголки, стояла коробочка с пуговицами. Стэн держал в руках новый роман Уильяма Денбро, еще не вышедший в карманном формате. На лицевой стороне суперобложки скалилось какое-то чудовище. Заднюю сторону занимала фотография лысого мужчины в очках.

Стэн сидел ближе к телефону. Снял трубку.

— Алло... резиденция Урисов.

Выслушал ответ и нахмурил брови.

— Кто, ты говоришь?

На мгновение Патти охватил страх. Позднее стыд заставил ее солгать и сказать родителям: она поняла, что что-то не так, едва зазвонил телефон. На самом деле это было всего мгновение, на которое она оторвалась от шитья. Но, возможно, она говорила правду. Возможно, они оба знали, что что-то грядет, задолго до этого телефонного звонка, — что-то, никак не соответствующее уютному дому, красиво возвышающемуся за низкими, вечнозелеными изгородями, что-то, давно принятое как само собой разумеющееся, а потому специального объявления и не требовалось...

этого острого мгновения страха, похожего на быстрый укол ножом для колки льда, вполне хватило.

«Это мама?» — беззвучно спросила она в этот момент, думая, что, возможно, у ее отца, весящего на двадцать фунтов больше нормы и с давних пор страдающего, как он говорил «болями в животе», случился инфаркт.

Стэн покачал головой, а потом улыбнулся тому, что услышал в трубке.

— Ты... ты! Черт, будь я проклят! Майк! Как ты...

Он снова замолчал, слушая. Улыбка блекла, ее сменяло выражение, которое Патти узнала, или подумала, что узнала, аналитическое выражение, появляющееся на лице Стэна, если кто-то формулировал задачу, или объяснял внезапное изменение в текущей ситуации, или рассказывал что-то странное и интересное. Она предположила, что это как раз последнее. Новый клиент? Давний друг? Возможно. И она вновь переключилась на телевизор, на экране которого женщина обнимала Ричарда Доусона и страстно его целовала. Она подумала, что Ричарда Доусона целовали даже чаще, чем Камень красноречия.[\[22\]](#) А еще она подумала, что и сама не отказалась бы его поцеловать.

И начав искать подходящую к остальным черную пуговицу на синюю джинсовую рубашку Стэна, Патти отметила для себя, что телефонный разговор перешел в более спокойное русло. Стэнли время от времени что-то бурчал, и тут вдруг спросил: «Ты уверен, Майк?» Наконец после долгой паузы Патти услышала: «Хорошо, я понимаю. Да, я... Да. Да, все. Общую картину я себе представляю. Я... что?.. Нет, я не могу обещать это на сто процентов, но тщательно все обдумаю. Ты знаешь, что... ох?.. Ты серьезно?.. Да, будь уверен! Разумеется, я сделаю. Да... точно... спасибо... да. Пока». Он положил трубку.

Патти повернулась к нему и увидела, что он уставился в пространство над телевизором. На экране аудитория хлопала семье Райан, которая только что увеличила свой запас очков до двухсот восьмидесяти. Последние очки они получили, правильно предположив, что на вопрос: «Какой предмет ребенок больше всего ненавидит в школе» — большинство в зрительном зале ответит «математика». Райаны прыгали, обнимались, радостно кричали.

Стэнли, однако, хмурился. Потом она скажет своим родителям, что лицо Стэнли, как ей показалось, чуть побледнело (и ей действительно так показалось), не упомянув, что в тот момент списала все на настольную лампу с зеленым абажуром.

— Кто звонил, Стэн?

— Гм-м-м-м? — Он повернулся к ней. Она подумала, что на его лице читается легкая рассеянность с толикой раздражения. И только потом, вновь и вновь прокручивая в голове эту сцену, Патти начала склоняться к тому, что смотрела в лицо человека, который методично отключает себя от реальности, проводок за проводком. Лицо человека, который уходит из-под синевы в темноту.

— Кто тебе звонил?

— Никто, — ответил он. — Правда никто. Пойду приму ванну. — Он поднялся.

— Что? В семь вечера?

Он не ответил, просто вышел из комнаты. Она могла бы спросить его, что случилось, могла даже пойти за ним и спросить, не разболелся ли у него живот — он не стеснялся говорить о сексе, зато с другими физиологическими процессами было иначе, и он мог сказать, что идет принимать ванну, тогда как на самом деле у него внезапно расстроился желудок и возникла насущная необходимость справить большую нужду. Но на экране представляли новую семью, Пискапо, и Патти нутром чуяла, что Ричард Доусон найдет что-то забавное, чтобы обыграть эту фамилию, а кроме того, ей никак не удавалось найти подходящую черную пуговицу, хотя она знала, что в коробке их тьма тьмущая. Разумеется, они прятались — другого объяснения она найти не могла...

Поэтому она позволила Стэну уйти и не думала о нем, пока по экрану не побежали титры. Тогда подняла голову и увидела его пустое кресло. Она слышала, как наверху потекла вода, наполняя ванну, слышала, как перестала течь через пять или десять минут... но теперь до нее дошло, что она не слышала, как открылась и закрылась дверца холодильника, то есть он поднялся наверх без банки пива. Кто-то ему позвонил и осчастливил серьезной проблемой, а она предложила ему хоть единственное слово

сочувствия? Нет. Попыталась разговорить, чтобы он поделился с ней? Нет. Даже заметив, что что-то не так? И в третий раз — нет. Все из-за этого дурацкого телешоу. Она даже не могла винить пуговицы — они были бы только предлогом.

Ладно, она отнесет ему банку «Дикси», посидит на краешке ванны, потрет спину, изобразит гейшу, помоеет голову, если он захочет, и выяснит, что это за проблема... или кто.

Она достала из холодильника банку пива и пошла наверх. Тревога зашевелилась в ней, когда она увидела, что дверь ванной закрыта. Не прикрыта, а плотно закрыта. Стэнли никогда не закрывал дверь, когда принимал ванну. У них даже была такая шутка: дверь закрыта, значит, он делает что-то такое, чему его научила мама, открыта — он безо всякого отвращения делает нечто иное, обучение которому его мама, как и положено, оставила на других.

Патти постучала ногтями по двери, внезапно осознав, очень явственно осознав, какой это неприятный звук, словно цоканье когтей рептилии. И конечно, стучать в дверь ванной, как гость... такого она никогда не делала за всю их семейную жизнь... не стучалась ни в дверь ванной, ни в другую дверь в доме.

Беспокойство внезапно резко усилилось, и она подумала об озере Карсон, в котором часто плавала девочкой. К первому августа вода в озере становилась такой же теплой, как в ванне... но потом ты внезапно попадала в холодный карман и дрожала от удивления и удовольствия. Только что тебе было тепло, а в следующий момент чувствовала, как температура слоя воды, ниже бедер, падала на добрых десять градусов. Если исключить удовольствие, именно это она сейчас и испытывала — словно попала в холодный карман. Только этот холодный карман находился не ниже бедер, и попали в него, в темных глубинах озера Карсон, не ее длинные девичьи ноги.

На сей раз холодный карман образовался вокруг ее сердца.

— Стэнли? Стэн?

Теперь она не стала стучать ногтями. Постучала кулаком. Не получив ответа, забарабанила в дверь.

— Стэнли?

Ее сердце. Ее сердце выскочило из груди. Билось в горле, не давая дышать.

— Стэнли!

В тишине, последовавшей за ее криком (и тот факт, что она кричала менее чем в тридцати футах от места, где ложилась и засыпала каждую ночь, пугал ее больше всего), она услышала звук, от которого паника, пребывавшая на нижних ступенях ее сознания, поднялась по лестнице, как незванный гость. Тихий, ненавязчивый такой звук. Звук капающей воды. Плюх... пауза. Плюх... пауза. Плюх... пауза. Плюх...

Она буквально видела, как капля формируется на срезе крана, становится тяжелой и толстой, беременеет, потом падает — плюх.

Только этот звук. Никакого другого. И внезапно она осознала, причем как-то сразу отпали все сомнения, что в этот вечер инфаркт сразил Стэнли — не ее отца.

Застонав, она схватилась за хрустальную ручку и повернула ее. Однако дверь все равно не открылась: ее заперли изнутри. И внезапно, в быстрой последовательности, в голове Патришии Урис промелькнули три «никогда»: Стэнли никогда не принимал ванну ранним вечером, Стэнли никогда не закрывал дверь в ванную, за исключением тех случаев, когда пользовался унитазом, и Стэнли никогда не запирался от нее.

«Возможно ли, — задалась она безумным вопросом, — приготовиться к инфаркту?»

Патти прошлась языком по губам (судя по звуку, который раздался в голове, наждачной бумагой прошлись по доске) и вновь позвала мужа. В ответ услышала лишь размеренное плюх... плюх... плюх... Посмотрела вниз и увидела, что в одной руке все еще держит банку «Дикси». Смотрела и смотрела на нее. Сердце, как кролик, металось в горле. Она таращилась на банку пива так, словно до этой самой минуты никогда ее не видела. И действительно, похоже, никогда не видела, во всяком случае, никогда не видела такую банку пива, потому что, когда она моргнула, банка эта превратилась в телефонную трубку, черную и угрожающую, как змея.

— Могу я чем-нибудь вам помочь, мэм? У вас проблема? — выплюнула змея. Патти бросила трубку на рычаг, отступила, потирая руку, которая держала трубку. Огляделась и увидела, что она вернулась в комнату, где работал телевизор, поняла, что паника, незванным гостем поднявшаяся по лестнице ее сознания, застлала ей глаза. Теперь она вспомнила, что уронила банку пива у двери ванной и рванула вниз, думая: это какая-то ошибка, над которой мы потом посмеемся вместе. Он наполнил ванну, вспомнил, что у него нет сигарет, и пошел за ними, еще не успев раздеться.

Да. Только он уже запер дверь в ванную изнутри, а отпирать ее ему не хотелось, поэтому он открыл окно над ванной и спустился вниз по стене дома, как это сделала бы муха. Именно так, конечно, именно так...

Паника вновь начала подниматься в ее сознании, как горький черный кофе, грозящий перехлестнуть через край чашки. Патти закрыла глаза и вступила с ней в схватку. Стояла, замерев, бледная статуя с пульсирующей на шее артерией.

Теперь она вспомнила, как прибежала вниз, как шлепанцы ступали по ступенькам, как подскочила к телефону, да, точно, но кому она собиралась позвонить?

Мелькнула безумная мысль: «Я хотела бы позвонить черепахе, но черепаха не смог бы нам помочь».

Это не имело значения. Она все-таки набрала ноль и сказала что-то необычное, потому что телефонистка спросила, возникла ли у нее проблема. Проблема возникла, все так, но как она могла сказать безликому голосу, что Стэнли заперся в ванной и не отвечает ей, что мерные звуки капель воды, падающих в ванну, разрывают ей сердце? Кто-то должен помочь. Кто-то...

Она поднесла тыльную сторону ладони ко рту, укусила. Она пыталась думать, пыталась заставить себя думать.

Запасные ключи. Запасные ключи в шкафчике на кухне.

Она двинулась к двери, нога в шлепанце ударила по банке с пуговицами, которая стояла рядом с ее стулом. Часть высыпалась из коробки, они упали на пол, поблескивая, как остекленевшие глаза, в свете настольной лампы.

Она увидела как минимум с полдюжины черных пуговиц.

В шкафчике над двойной раковиной стояла лакированная доска в форме ключа. Один из клиентов Стэна преподнес ему такой рождественский подарок двумя годами раньше. Из доски торчали крючки, на которых висели по два дубликата всех ключей, которые использовались в доме. Под каждым крючком с ключами Стэн прилепил прямоугольник липкой ленты «Мистик» и своим аккуратным почерком написал, что это за ключи: «ГАРАЖ», «ЧЕРДАК», «ВАННА НИЖ.», «ВАННА ВЕРХ.», «ПАРАДНАЯ ДВЕРЬ», «ЧЕРНЫЙ ХОД». Отдельно висели дубликаты автомобильных ключей, подписанные соответственно «М-С» и «ВОЛЬВО».

Патти схватила ключи с маркировкой «ВАННА ВЕРХ.», побежала к лестнице, но заставила себя перейти на шаг. Бег — приглашение панике вернуться, а паника и так была слишком близко. Опять же, если бы она просто шла, ничего плохого, возможно, и не случилось бы. Или, если б и случилось, Бог мог посмотреть вниз, увидеть, что она идет, а не бежит, и подумать: «Это хорошо, я допустил чертовскую ошибку, но теперь у меня есть время исправить ее».

Шагая неторопливо, как дама, направляющаяся на заседание Женского книжного клуба, Патти поднялась по лестнице, подошла к запертой двери ванной.

— Стэнли? — позвала она, одновременно пытаясь вновь открыть дверь, внезапно испугавшись пуще прежнего, не желая воспользоваться ключом, потому что ключ нес в себе что-то роковое, окончательное. Если Бог не исправит ошибку к тому времени, как она повернет ключ, Он уже не исправит ее никогда. Эра чудес, в конце концов, осталась в прошлом.

Но дверь так и осталась запертой, а в ответ она услышала те же звуки: плюх... пауза... В ванну капала вода.

Ее рука дрожала, и ключ обстучал всю пластину вокруг замочной скважины, прежде чем протиснулся в нее и вошел до упора. Патти повернула ключ, услышала, как щелкнул замок. Не сразу удалось ей и взяться за хрустальную ручку. Она так и норовила выскользнуть из руки. Не потому, что дверь оставалась закрытой — просто ладонь и пальцы сделались влажными от пота. Но Патти усилила хватку и заставила ручку

повернуться. Толкнула дверь.

— Стэнли? Стэнли? Ст?..

Она посмотрела на ванну, на синюю занавеску, сдвинутую к дальнему краю, и забыла, как закончить имя мужа. Она просто смотрела на ванну с выражением торжественности на лице, как у ребенка, первый раз пришедшего в школу. Через мгновение она начнет кричать, и Анита Маккензи, которая жила в соседнем доме, услышит ее. Именно Анита Маккензи вызовет полицию в полной уверенности, что кто-то вломился в дом Урисов и теперь там убивают людей.

Но в тот момент Патти Урис просто стояла, сминая пальцами темную юбку из хлопчатобумажной ткани, с серьезным лицом, с широко раскрытыми глазами. А потом эта чуть ли не благоговейная торжественность стала трансформироваться во что-то еще. Широко раскрытые глаза начали вылезать из орбит. Губы растянулись в жуткой ухмылке ужаса. Патти хотела кричать и не могла. Крики стали такими большущими, что не могли вырваться наружу.

Ванную освещали флуоресцентные трубки. Очень яркие. Никаких теней. Человек мог видеть все, хотел он того или нет. Вода в ванной ярко алела. Стэнли полусидел спиной к ближней стенке. Его голова так сильно запрокинулась назад, что короткие черные волосы на затылке касались кожи между лопатками. Если бы его открытые глаза могли видеть, для него она бы сейчас стояла на голове. Рот раззявился, будто распахнутая дверь. На лице застыл запредельный ужас. На бортике ванны лежала упаковка бритвенных лезвий «Жиллет платинум плюс». На обеих руках он вскрыл себе вены от запястья до сгиба локтя. Потом продольные надрезы накрыл поперечными, чуть ниже «браслетов судьбы», [\[23\]](#) словно написав пару кровавых заглавных «Т». Эти разрезы под ярко-белым светом смотрелись красно-пурпурными. Патти подумала, что открывшиеся сухожилия и связки выглядят, как кусочки дешевой говядины.

Капля воды собралась на срезе поблескивающего хромом крана. Она полнела. Можно сказать, беременела. Сверкала. Упала. Плюх.

Он окунул мизинец правой руки в собственную кровь и написал единственное слово на синем кафеле над ванной. От последней буквы этого

слова вниз уходила линия. Патти видела, что прочертил палец Стэнли, когда его рука падала в воду, где теперь и плавала. Она подумала, что Стэнли провел эту линию (последнее, что он сделал в этом мире), уже теряя сознание. Слово это кричало со стены:

ОНО

Еще одна капля упала в ванну. Плюх.

Этот звук вывел Патти из ступора. Она вновь обрела голос. Глядя в отражающие свет мертвые глаза мужа, она закричала.

Ричард Тозиер «делает ноги»

Рич чувствовал, что держится молодцом, как нельзя лучше, пока не началась рвота.

Он выслушивал все, что сказал ему Майк Хэнлон, говорил то, что следовало говорить, отвечал на вопросы Майка, даже сам задал несколько. Смутно он понимал, что говорил с Майком один из его Голосов, не сдержанный и пренебрежительный, как те, что он иногда использовал на радио (Кинки Брифкейс, секс-бухгалтер, был его любимчиком, во всяком случае, какое-то время, и слушателям Кинки нравился почти так же, как его любимчик на все времена, полковник Бафорд Киссдривел), но теплый, густой, уверенный Голос. У-меня-все-в-порядке, вот кому принадлежал этот Голос. Звучал отлично, но лгал. Как и все остальные Голоса.

— Что ты помнишь, Рич? — спросил его Майк.

— Очень мало, — ответил Рич и после паузы добавил: — Полагаю, достаточно.

— Ты приедешь?

— Я приеду, — ответил Рич и положил трубку.

Посидел в своем кабинете, за столом, откинувшись на спинку стула, глядя на Тихий океан. С левой стороны двое подростков лежали на досках для серфинга. Только лежали, не летели по волнам, потому что волн сегодня не было.

Часы на столе, дорогие, кварцевые, подарок представителя звукозаписывающей компании, показывали 17:09. Происходило все 28 мая 1985 года. Разумеется, в том месте, откуда звонил Майк, было на три часа позже. Там уже стемнело. От этой мысли кожа покрылась мурашками, и он зашевелился. Начал что-то делать. Первым делом, само собой, поставил пластинку — не выбирая, схватив первую попавшуюся из тысяч, что стояли на полках. Рок-н-ролл являлся почти такой же неотъемлемой частью его

жизни, как и Голоса, и ему с трудом удавалось что-либо делать без музыки, и чем громче, тем лучше. Схватил он пластинку с ретроспективной мотауна. [24] Марвин Гэй, [25] один из новых членов, как иногда называл их Рич, Оркестра покойников, пел «На ушко мне шепнули».

«О-ох, небось, ты гадаешь, как я узнал...»

— Неплохо, — пробормотал Рич. Даже чуть улыбнулся. Все, конечно, было плохо, и петля затягивалась у него на шее, но он чувствовал, что как-нибудь выкрутится. Никаких проблем.

Он начал подготовку к возвращению домой. И в какой-то момент, где-то часом позже, ему пришло в голову: ситуация такова, будто он умер, но ему тем не менее разрешили отдать все необходимые деловые распоряжения... включая, разумеется, и касающиеся собственных похорон. И он чувствовал, что получается у него очень даже хорошо. Он позвонил сотруднице турагентства, услугами которой пользовался, говоря себе, что она уже на автостраде, едет домой, а он звонит для очистки совести. Но, чудо из чудес, застал ее на месте. Объяснил, что ему нужно, и она попросила у него пятнадцать минут.

— Я твой должник, Кэрол, — ответил он. За последние три года они перешли от мистера Тозиера и мисс Фини к Ричу и Кэрол — прогресс значительный, учитывая, что они никогда не виделись.

— Хорошо, расплачивайся, — ответила она. — Хочу услышать Кинки Брифкейса.

Без малейшей паузы (если делаешь паузу, чтобы найти Голос, он обычно не находится вообще) Рич заговорил:

— С вами Кинки Брифкейс, секс-бухгалтер... ко мне на днях зашел один парень, который хотел знать, что самое худшее, если ты заболел СПИДом. — Он заговорил чуть тише, быстрее и более развязно; это был, несомненно, американский голос, и при этом в нем слышались интонации богатого английского плантатора, обаятельного, но пустоголового. Рич понятия не имел, кем на самом деле был Кинки Брифкейс, но, конечно же, он носил белые костюмы, читал «Эсквайр», пил то, что подавали в высоких стаканах, и напитки эти запахом напоминали шампунь с ароматом кокоса. — Я ответил ему сразу — попытаться объяснить матери, как

подхватил эту заразу от гаитянки. До следующей встречи, это Кинки Брифкейс, секс-бухгалтер, и я говорю: «Если есть проблемы с блядом, звякни мне, я буду рядом».

Кэрол Фини завизжала от смеха.

— Идеально. Идеально. Мой бойфренд утверждает, что ты не говоришь всеми этими голосами, он уверен, у тебя какая-то специальная машинка для изменения голоса...

— Всего лишь талант. — Кинки ушел, его место занял Даблью-Си Филдс, цилиндр, красный нос, сумка с клюшками для гольфа и все такое. — Я так набит талантом, что мне приходится затыкать все отверстия на теле, чтобы он не вытек из меня, как... ну, чтобы не вытек.

Она вновь расхохоталась, и Рич закрыл глаза. Он уже чувствовал, как начинает болеть голова.

— Будь душкой, посмотри, что ты сможешь сделать? — попросил он, все еще будучи Даблью-Си Филдсом, и положил трубку, оборвав ее смех.

Теперь ему следовало стать самим собой, а давалось это с трудом — с каждым годом все труднее. Проще быть смелым, когда ты кто-то еще.

Он попытался выбрать пару хороших кожаных туфель, и уже почти решил остановиться на кроссовках, когда вновь зазвонил телефон. Кэрол Фини справилась с заданием в рекордно короткий срок. Он уж собрался стать Голосом Бафорда Киссдривела, но поборол искушение. Она взяла ему билет первого класса на беспосадочный рейс «Американ эйрлайнс» из Лос-Анджелеса в Бостон. Самолет вылетал в 21:03 и прибывал в аэропорт Логан в пять утра. Из Бостона ему предстояло вылететь в 7:30 рейсом «Дельты» и прибыть в Бангор, штат Мэн, в 8:20. Она арендовала ему седан в компании «Авис», а стойку «Ависа» в международном аэропорту Бангора и административную границу Дерри разделяли всего двадцать шесть миль.

«Всего двадцать шесть миль? — подумал Рич. — Всего-то, Кэрол? Что ж, может, так оно и есть... если считать в милях. Но ты понятия не имеешь, как далеко на самом деле находится Дерри, да и я тоже. Но, о Боже мой, о милый мой Боже, мне предстоит это выяснить».

— Я не стала заказывать тебе номер, потому что ты не сказал, как долго там пробудешь. Ты...

— Нет... позволь мне разобраться с этим самому. — И тут инициативу перехватил Бафорд Киссдривел. — Ты — персик, дорогая моя. Персик из Джорджии, [\[26\]](#) само собой, — добавил он, имитируя южный акцент.

Положил трубку (всегда лучше оставлять их смеющимися) и набрал 207–555–1212, номер справочной штата Мэн. Ему хотелось узнать телефон отеля «Дерри таун-хаус». Господи, название из прошлого. Он не вспоминал «Дерри таун-хаус»... сколько? Десять лет? Двадцать? Или даже двадцать пять? И хотя в это не верилось, не вспоминал как минимум двадцать пять лет, а если бы не звонок Майка, мог бы не вспомнить и до конца своих дней. И однако, в его жизни был период, когда он каждый день проходил мимо этой большой груды красного кирпича, и не раз пробежал мимо, а за ним гнались Генри Бауэрс, Рыгало Хаггинс и еще один большой парень, Виктор Как-его-там, гнались изо всех сил, выкрикивая «любезности»: «Мы тя поймаем, жопорылый», или «Ща поймаем, умник хренов», или «Ща поймаем, пидор очкастый». Они хоть раз поймали его?

Прежде чем Рич успел вспомнить, оператор спросил, какой его интересует город.

— Дерри, пожалуйста...

Дерри! Господи! Даже это слово во рту ощущалось странным и забытым. Произнести его — все равно что поцеловать что-то древнее.

— ...У вас есть номер отеля «Дерри таун-хаус»?

— Минуточку, сэр.

Конечно же, нет. И отеля давно нет. Снесен в рамках городской программы обновления. На его месте построили административный комплекс, спортивную арену, торговый центр. А может, он сгорел однажды ночью, когда для пьяного торговца обувью, который курил в постели, сработала теория вероятности. Все ушло, Ричи, совсем как очки, которыми всегда доставал тебя Генри Бауэрс. Как там сказано в песне Спрингстина? «Золотые те денечки... девушка моргнула, их уже и нет». Какая девушка? Конечно же, Бев. Бев...

«Таун-хаус», возможно, изменился, но определенно не исчез, потому что в трубке слышался ровный, механический голос: «Номер девять... четыре... один... восемь... два... восемь... два. Повторяю, номер...»

Но Рич все записал с первого раза. И с радостью положил трубку, оборвав этот монотонный голос на полуслове. Так легко представить себе огромного глобального справочного монстра, зарытого глубоко под землей, всего в заклепках, держащего тысячи телефонных трубок в тысячах изгибающихся хромированных щупалец. Этакая телефонная версия доктора Осьминога, немезиды Человека-паука. С каждым годом мир, в котором жил Рич, все более напоминал ему огромный электронный дом с привидениями, где цифровые призраки и перепуганные люди в постоянном напряжении соседствовали друг с другом.

Еще держались. Перефразируя Пола Саймона,[\[27\]](#) еще на месте после всех этих лет.[\[28\]](#)

Он набрал номер отеля, который последний раз видел через роговые очки своего детства. Набрать номер, 1–207–941–8282, не составило ровным счетом никакого труда. Рич держал трубку у уха, глядя в панорамное окно своего кабинета. Серферы ушли. На их месте по берегу медленно прогуливалась парочка, юноша и девушка держались за руки. Парочка так и просилась на рекламный плакат, украсивший бы стену турагентства, в котором работала Кэрол Фини, — так красиво они смотрелись. Только перед съемкой им, возможно, пришлось бы снять очки.

«Ща поймает тебя, козел! Разобьем твои очки!»

Крисс, внезапно подсказала память. Его фамилия Крисс. Виктор Крисс.

Господи Иисусе, ничего этого он не хотел знать, прошло столько лет, но ведь это не имело ровным счетом никакого значения. Что-то происходило глубоко внизу в хранилищах, там, где Рич Тозиер хранил свою личную коллекцию «Золотых старых песен». Двери открывались...

Только там хранятся не пластинки, так? В тех глубинах ты не Рич Тозиер по прозвищу Пластинкин, популярный диджей радиостанции КЛАД и Человек тысячи голосов, так? И то, что открывается... это не совсем двери, так?

Он попытался вышибить из головы эти мысли.

Главное, помнить, что я в порядке. Я в порядке. Ты в порядке, Рич Тозиер в порядке. Можешь выкурить сигарету, и все дела.

Он уже четыре года как бросил курить, но сейчас мог выкурить сигарету, это точно.

Они — не пластинки, а трупы. Ты похоронил их глубоко, но теперь происходит какое-то безумное землетрясение, и земля выбрасывает их на поверхность. Там, в глубине, ты — не Рич Тозиер по прозвищу Пластинкин. Там, в глубине, ты всего лишь Ричи Тозиер, прозванный Очкариком, и ты со своими друзьями, и ты так испуган, что твои яйца буквально превращаются в желе. Это не двери, и они не открываются. Это крипты. Они раскалываются, и вампиры, которых ты полагал мертвыми, вылетают наружу.

Сигарету, только одну. Даже «Карлтон» подойдет, ради всего святого.

«Поймаем тебя, Четыре Глаза! Заставим съесть твою сраную сумку для книг!»

— «Таун-хаус», — произнес мужской голос с характерным выговором янки. Прежде чем долететь до уха Рича, он проделал долгое путешествие, пересек Новую Англию, Средний Запад, проскочил под казино Лас-Вегаса.

Рич спросил у голоса, может ли он зарезервировать «люкс» в «Таун-хаусе» начиная с завтрашнего дня. Голос ответил, что может, потом спросил, как надолго.

— Точно сказать не могу. У меня...

У него что? Мысленным взором он увидел мальчика с сумкой для книг из шотландки, убегающего от плохих парней; увидел мальчика в очках, худенького мальчика с бледным лицом, которое каким-то странным образом кричало каждому проходящему мимо хулигану-подростку: «Ударь меня! Подойди и ударь меня! Вот мои губы! Размажь их по зубам! Вот мой нос! Вышиби из него кровь, даже сломай, если сможешь! Двинь в ухо, чтобы оно распухло, как кочан цветной капусты! Рассеки бровь! Вот мой подбородок, попробуй отправить меня в нокаут! Вот мои глаза, такие синие

и огромные за этими ненавистными, ненавистными линзами, эти очки в роговой оправе, с одной дужкой, замотанной изолентой. Разбей очки! Всади по осколку стекла в каждый из этих глаз и закрой их навеки! Чего ты ждешь?»

Он закрыл глаза и лишь потом продолжил.

— Видите ли, я еду в Дерри по делу. Не знаю, сколько потребуется времени, чтобы завершить сделку. Как насчет трех дней с опционом на продление?

— С опционом на продление? — с сомнением повторил мужчина, и Рич терпеливо ждал, пока тот сообразит что к чему. — О, я вас понял! Замечательно!

— Благодарю вас, и я... э... надеюсь, что вы сможете проголосовать за нас в ноябре, — сказал Джон Ф. Кеннеди. — Джеки хочет... э... переделать... э... Овальный кабинет... и я нашел работу для моего... э... брата Бобби.

— Мистер Тозиер?

— Да?

— Хорошо... кто-то еще на несколько секунд встрял в разговор.

«Да, один член из Пэ-дэ-эм, — подумал Рич. — Партии давно умерших, на случай если вам требуется расшифровка. Не волнуйтесь об этом». По его телу пробежала дрожь, и он вновь сказал себе чуть ли не в отчаянии: «Ты в порядке, Рич».

— Я тоже слышал чей-то голос. Наверное, где-то пересеклись линии. Так что у нас с «люксом»?

— Никаких проблем, — ответил мужчина. — Дерри — деловой город, но до бума тут далеко.

— Правда?

— Ох, ага, — подтвердил мужчина, и Рич вновь содрогнулся. Он забыл и это, замену на севере Новой Англии простого «да» на «ох, ага».

«Ща поймаем тебя, гаденыш», — прокричал голос-призрак Генри Бауэrsa, и Рич почувствовал, как внутри треснули новые крипты; вонь, которую он чувствовал, шла не от разложившихся тел, а от разложившихся воспоминаний, а это куда как хуже.

Он продиктовал номер своей кредитной карточки «Американ экспресс» и положил трубку. Потом позвонил Стиву Коваллу, программному директору КЛАД.

— Что такое, Рич? — спросил Стив. Последние рейтинги «Арбитра» показывали, что КЛАД — на вершине людоедского лос-анджелесского рынка радиостанций коротковолнового диапазона, и Стив пребывал в превосходном настроении — возблагодарим Господа за маленькие радости.

— Возможно, ты пожалеешь, что спросил. Я сматываюсь.

— Сматыва... — По голосу чувствовалось, что Стив нахмурился. — Боюсь, я тебя не понял, Рич.

— Должен надеть сапоги-скороходы. Уезжаю.

— Что значит — уезжаешь? Согласно сетке, которая лежит передо мной, завтра ты в эфире с двух пополудни до шести вечера, как и всегда. Собственно, завтра, в четыре часа, ты интервьюируешь Кларенса Клемонса. Ты же знаешь Кларенса Клемонса,[\[29\]](#) Рич. Это, можно сказать, про него, «Войди и сыграй, Здравяк».[\[30\]](#)

— Клемонс может поговорить с О'Харой точно так же, как и со мной.

— Клемонс не хочет говорить с Майком, Рич. Клемонс не хочет говорить с Бобби Расселлом. Он не хочет говорить со мной. Кларенс — большой поклонник Бафорда Киссдривела и Уайатта, упаковщика-убийцы. Он хочет говорить с тобой, друг мой. И у меня нет никакого желания увидеть, как саксофонист весом в двести пятьдесят фунтов, которого однажды едва не взяли в профессиональную футбольную команду, начнет буйствовать в моей студии.

— Я не думаю, что он где-то когда-то буйствовал, — ответил Рич. — Мы говорим о Кларенсе Клемонсе, а не о Кейте Муне.[\[31\]](#)

Пауза. Рич терпеливо ждал.

— Неужели ты это серьезно? — наконец спросил Стив. Голос зазвучал печально. — Я хочу сказать, если у тебя только что умерла матушка, или у тебя обнаружили опухоль мозга, или что-то такое, тогда...

— Я должен уехать, Стив.

— Твоя мать заболела? Или, не дай бог, умерла?

— Она уже десять лет как умерла.

— У тебя опухоль мозга?

— Нет даже полипа в прямой кишке.

— Тогда это не смешно, Рич.

— Не смешно.

— Тогда ты ведешь себя, как дилетант хренов, и мне это не нравится.

— Мне тоже не нравится, но я должен уехать.

— Куда? Почему? В чем дело? Расскажи мне, Рич!

— Мне позвонил человек. Человек, которого я знал давным-давно. В другом месте. Когда кое-что случилось. Я дал слово. Мы все обещали, что вернемся, если это кое-что начнется снова. И я полагаю, что оно началось.

— О каком «кое-что» мы говорим, Рич?

— Я бы предпочел это опустить. Опять же, ты подумаешь, что я рехнулся, если я скажу тебе правду: не помню.

— И когда ты дал это знаменитое обещание?

— Очень давно. Летом тысяча девятьсот пятьдесят восьмого.

Вновь долгая пауза, и он знал, что Стив Ковалл пытается решить, то ли Рич Тозиер, по прозвищу Пластинкин, он же Бафорд Киссдривел, он же Уайатт,

упаковщик-убийца и т. д., и т. п., разыгрывает его, или у него какое-то психическое расстройство.

— Ты же тогда был ребенком, — наконец подал голос Стив.

— Одиннадцать уже исполнилось. Пошел двенадцатый год.

Еще пауза. Рич терпеливо ждал.

— Ладно. — Стив сломался. — Я изменю ротацию — поставлю Майка вместо тебя. Могу позвонить Чаку Фостеру, чтобы он заполнил несколько смен, если найду китайский ресторан, в котором он сейчас обретается. Я это сделаю, потому что мы прошли вместе долгий путь. Но я никогда не забуду, что ты меня подставил, Рич.

— Да брось ты! — Головная боль усиливалась. Он же понимал, что подводит радиостанцию. Или Стив думал, что он не понимал? — Мне нужно отъехать на несколько дней, не более того. А ты ведешь себя так, будто я наблевал на нашу лицензию, выданную Эф-ка-эс.[\[32\]](#)

— На несколько дней — ради чего? Воссоединение скаутского звена в Мухосрань-Фоллз, штат Северная Дакота? Или в Козевдуй-Сити, что в Западной Виргинии?

— Вообще-то я думал, что Мухосрань-Фоллз — это в Арканзасе, друже, — пробасил Бафорд Киссдривел, но не умаслил Стива.

— Потому что ты дал слово, когда тебе было одиннадцать? Уж прости меня, но дети не обещают ничего серьезного, когда им одиннадцать! Но дело даже не в этом, и ты это знаешь, Рич. У нас не страховая компания. У нас не юридическая фирма. Это шоу-бизнес, пусть даже и в скромных масштабах, ты чертовски хорошо это знаешь. Если бы ты предупредил меня за неделю, я бы не держал трубку в одной руке и пузырек миланты[\[33\]](#) в другой. Ты просто загоняешь меня в угол, и ты это знаешь, поэтому не говори мне, что для тебя это новость!

Стив уже кричал, и Рич закрыл глаза. Стив сказал, что никогда этого не забудет, и Рич полагал, что это правда. Стив сказал, что дети в одиннадцать лет не дают серьезных обещаний, и тут он ошибался. Рич не мог вспомнить, какое он дал обещание (не знал, хотел ли вспомнить), но оно

было более чем серьезное.

— Стив, мне пора.

— Да. И я сказал тебе, что как-нибудь выкручусь. Иди, дилетант.

— Стив, это неле...

Но Стив уже бросил трубку. Рич положил свою на рычаг. Едва он оторвал руку, как телефон зазвонил вновь, и он знал, не снимая трубки, что это опять Стив, еще более взбешенный. Разговаривать с ним в таком состоянии смысла не имело — они только еще сильнее разругаются. Поэтому он сдвинул рычажок на правой стороне телефонного аппарата, оборвав звонки.

Он поднялся наверх, вытащил из чулана два чемодана и принялся складывать, практически не глядя: джинсы, рубашки, нижнее белье, носки. Лишь потом до него дошло, что он не взял с собой ничего, кроме одежды, какую носят дети. С чемоданами он спустился вниз.

На стене кабинета висела большая черно-белая фотография Биг-Сура,[\[34\]](#) сделанная Анселем Адамсом.[\[35\]](#) Рич повернул ее на спрятанных петлях, открыв дверцу сейфа. Набрал код, распахнул дверцу, полез в глубину, за документы: свидетельства, подтверждающие право собственности на уютный домик, расположенный между геологическим разломом и пожароопасной зоной, на двадцать акров леса в Айдахо, сертификаты акций. Он покупал акции вроде бы полагаясь на случай, и брокер, когда видел приближающегося Рича, хватался за голову, но все купленные им акции с годами только росли в цене. Его иногда удивляла мысль, что он почти что (не совсем, но почти что) богатый человек. Все благодаря рок-н-роллу и... разумеется, Голосам.

Дом, акры, страховой полис, даже копия его последнего завещания. Нити, которые прочно привязывали тебя к карте жизни, подумал он.

Внезапно появилось неодолимое желание щелкнуть «Зиппо» и поджечь все эти документы, свидетельства, сертификаты. Он мог это сделать. Бумаги, лежащие в его сейфе, больше ничего не значили.

Тут его впервые охватил ужас, и в этом не было ничего

сверхъестественного. Пришло лишь осознание, как легко пустить под откос свою жизнь. Вот что пугало. Ты всего лишь подносишь вентилятор к тому, что годами собирал воедино, и включаешь эту хреновину. Легко. Сжигаешь или сдуваешь, а потом сматываешься.

За документами, двоюродными братьями и сестрами денег, лежали они, родимые. Наличные. Четыре тысячи: десятки, двадцатки, купюры по пятьдесят и сто долларов.

Беря деньги, рассовывая по карманам джинсов, Рич задался вопросом: может, он каким-то образом знал что делает, когда клал в сейф деньги, пятьдесят баксов в один месяц, сто двадцать — в следующий, может, только десять, после этого. Заначка. На случай, если придется сматываться.

— Чел, это страшно. — Он едва отдавал себе отчет, что говорит вслух. Тупо посмотрел через большое окно на берег. Пляж опустел, вслед за серферами ушли и молодожены (если это были молодожены).

Ах да, док... память ко мне возвращается. Помните Стэнли Уриса, к примеру? Можете поспорить на свою шкуру, помню... Помню, как мы так говорили и думали, что это круто. Стэнли Урин, [\[36\]](#) так звали его большие парни. «Эй, Урин! Эй, ты, христубийца хренов. Куда ты идешь? Один из твоих приятелей-гомиков пообещал тебе отсосать?»

Рич захлопнул дверцу сейфа, вернул фотографию на место. Когда он в последний раз думал о Стэнли Урисе? Пять лет назад? Десять? Двадцать? Семья Рича уехала из Дерри весной 1960 года, и как же быстро все их лица растаяли в памяти, их банда, жалкая кучка неудачников с их маленьким клубным домом в том месте, которое называли Пустошь, название странное, учитывая, как буйно там все росло. Они воображали, будто они — исследователи джунглей или «Морские пчелы», [\[37\]](#) вырубавшие посадочную полосу на тихоокеанском атолле, одновременно сдерживая атаки япошек. Они воображали себя строителями плотины, ковбоями, астронавтами, высадившимися на заросшую джунглями планету, но, как ни назови, никто не забывал, что на самом деле это было убежище. Убежище от больших парней. Убежище от Генри Бауэрсса, и Виктора Крисса, и Рыгало Хаггинса, и всех остальных. Та у них еще подобралась компания: Стэн Урис с большим еврейским носом, Билл Денбро, который мог сказать лишь: «Хай-йо, Сильвер!» [\[38\]](#) — не заикаясь так сильно, что тебя это едва

не сводило с ума, Беверли Марш с ее синяками и сигаретами, закрученными в рукав блузы, Бен Хэнском, такой огромный, что тянул на человеческую версию Моби Дика, и Ричи Тозиер, в очках с толстыми стеклами, острым язычком и лицом, которое просто молило, чтобы его подправили, придав ему новую форму. Существовало ли слово, которым их можно было назвать? О да. Существовало всегда. [Le mot juste](#).^[39] В данном конкретном случае *le mot juste* означало «слюнтяи».

Как это вернулось, как это все вернулось... и теперь он стоял в кабинете, неистово дрожа всем телом, как бездомный щенок в бушующую грозу, дрожал, потому что вспомнил не только тех, с кем дружил. Было и кое-что другое, о чем он не думал долгие годы, но воспоминания эти таились совсем не в глубинах сознания, а у самой поверхности.

Кровь.

Темнота. Страшная темнота.

Дом на Нейболт-стрит, и Билл, кричащий: «Ты уб-бил моего брата, га-га-гандон!»

Он это помнил? Достаточно хорошо, чтобы не хотеть вспоминать что-то еще, можете поспорить на свою шкуру.

Запах мусора, запах говна, и запах чего-то еще. Хуже, чем два первых. Запах чудовища, запах Оно, внизу, в темноте под Дерри, где гремели машины. Он вспомнил Джорджа...

Это и переполнило чашу. Он бросился к ванной, споткнулся о стул Имса, [\[40\]](#) чуть не упал. Успел... в самый последний момент. На коленях заскользил по керамическим плиткам ванной комнаты к унитазу, словно танцевал брейк, схватился за край и выблевал все содержимое желудка. Но даже это не остановило поток воспоминаний; внезапно он увидел Джорджи Денбро, словно расстался с ним только вчера, Джорджи, с которого все и началось, Джорджи, убитого осенью 1957 года. Джорджи умер сразу после наводнения, одну его руку вырвало из плечевого сустава, и Рич заблокировал все эти воспоминания. Но иногда они возвращались, да, действительно, они возвращались, иногда они возвращались.

Рвота прекратилась, Рич вслепую, на ощупь, нашел кнопку слива.

Забурлила вода. Ранний ужин, вылетающий изо рта теплыми кусками, исчез.

Его унесло в канализацию.

В гул, вонь и темноту канализации.

Он закрыл крышку, приложился к ней лбом, заплакал. Заплакал впервые с 1975 года, когда умерла его мать. Даже не думая о том, что делает, поднес руки к глазам, сложив ладони лодочкой. Контактные линзы, которые он носил, выскользнули из-под век и заблестели на ладонях.

Сорок минут спустя, чувствуя, что очистился от всего лишнего, он забросил оба чемодана в багажник «MG»[\[41\]](#) и задним ходом выехал из гаража. День клонился к вечеру. Он посмотрел на свой дом в окружении недавно посаженных деревьев и кустов, он посмотрел на берег, на воду цвета светлых изумрудов, по которой заходящее солнце проложило дорожку червонного золота. И в этот самый момент вдруг осознал, что больше никогда этого не увидит, что он — ходячий мертвец.

— Теперь я еду домой, — прошептал Рич Тозиер самому себе. — Еду домой, помоги мне, Господи, я еду домой.

Он включил передачу и уехал, вновь почувствовав, как это легко — проскочить сквозь внезапно появившуюся трещину в том, что он полагал крепкой и устойчивой жизнью... как легко оказаться на темной стороне, уплыть из-под синевы в черноту.

Из-под синевы в черноту, да, именно так. Где могло ждать что угодно.

Бен Хэнском пьет виски

Если бы в тот вечер 28 мая 1985 года вы захотели найти человека, которого журнал «Тайм» назвал «возможно, самым многообещающим молодым архитектором Америки» («Сохранение энергии в городе и младотурки», «Тайм», 15 октября 1984 г.), вам пришлось бы поехать на запад от Омахи по автостраде 80. Потом по указателю «Шведхолм» свернуть на шоссе 81 и доехать до центра Шведхолма (ничего собой не представляющего). Там повернуть на шоссе 92 перед рестораном «У Баки: Съешь и облизнешься» («Куриные стейки — наша специализация») и вновь мчаться среди полей до шоссе 63. Повернуть направо. Шоссе 63 как стрела пронзает заброшенный маленький городок Гатлин и приводит в Хемингфорд-Хоум.

В сравнении с центром Хемингфорд-Хоума центр Шведхолма выглядел, как Нью-Йорк. Деловой район Хемингфорд-Хоума — восемь зданий, пять на одной стороне улицы, три — на другой. Парикмахерская «Чистая стрижка», в витрине которой висело пожелтевшее от времени, написанное от руки пятнадцатью годами ранее объявление: «ЕСЛИ ТЫ ХИППИ, СТРИГИСЬ ГДЕ-НИБУДЬ ЕЩЕ», кинотеатр, где показывали только старые фильмы, универсальный магазинчик. Добавьте к этому отделение банка «Домовладельцы Небраски», заправочную станцию, «Аптеку Рексолла» и магазин сельскохозяйственной техники и скобяных товаров. Только последнее заведение выглядело более или менее процветающим.

И в конце квартала, рядом с пустырем, вы нашли бы придорожный бар-ресторан «Красное колесо», стоящий словно пария чуть в стороне от остальных зданий. Если бы вы забрались в такую глубинку, то обязательно увидели бы на земляной, в рывинах, автостоянке старенький «кадиллак-кабриолет» модели 1968 года, с двумя СБ-антеннами[42] на багажнике, с заказным номерным знаком «КЭДДИ БЕНА» над передним бампером. А в зале — нужного вам человека, который шел к стойке бара: долговязого, дочерна загорелого, в рубашке из шамбре, вылинявших джинсах, обтрепанных саперных сапогах. С сетью морщинок в уголках глаз, но нигде больше. Выглядел он лет на десять моложе своего возраста, составлявшего тридцать восемь лет.

— Привет, мистер Хэнском. — Рикки Ли положил бумажную салфетку на стойку перед садящимся Беном. В голосе Рикки Ли слышалось изумление, и он действительно изумился, потому что никогда раньше не видел Хэнскома в «Колесе» накануне рабочего дня. Он регулярно приходил сюда каждую пятницу вечером, чтобы выпить два стакана пива, и каждую субботу — чтобы выпить четыре или пять. Всегда справлялся о трех мальчиках Рикки Ли, всегда, уходя, оставлял под пустым стаканом пять долларов чаевых. По части поговорить за жизнь или личного уважения он, несомненно, был самым любимым клиентом Рикки Ли. Десять долларов в неделю (и пятьдесят — каждое Рождество в последние пять лет), конечно, неплохо, но хороший собеседник ценился дороже. Хороший собеседник вообще в дефиците, а уж в такой-то дыре, где никто двух слов связать не мог, они встречались реже, чем зубы у курицы.

Хотя родился и вырос Хэнском в Новой Англии, а учился в калифорнийском колледже, что-то в нем было от экстравагантного техасца. Рикки Ли рассчитывал на появление Бена Хэнскома по пятницам и субботам, потому что привык на это рассчитывать. Мистер Хэнском мог строить небоскреб в Нью-Йорке (где он уже построил три наиболее обсуждаемых здания), художественную галерею в Редондо-Бич или административный корпус в Солт-Лейк-Сити, но появлялся вечером в пятницу. Где-то между восемью и половиной десятого вечера дверь с автостоянки открывалась, и он входил в зал, словно жил на другом конце города и решил заехать в «Колесо» и выпить пива, потому что по телевизору не показывали ничего интересного. На своей ферме в Джанкинсе он построил взлетно-посадочную полосу, куда прилетал на собственном «лирджете».

Двумя годами раньше он работал в Лондоне, сначала проектировал, а потом контролировал строительство нового коммуникационного центра Би-би-си, здания, из-за которого в английской прессе до сих пор продолжались жаркие дебаты («Гардиан»: «Возможно, самое прекрасное здание, построенное в Лондоне за последние двадцать лет»; «Миррор»: «Если не считать лица моей тещи после попойки в пабе, ничего более отвратительного видеть мне не доводилось»). Когда мистер Хэнском взялся за этот заказ, Рикки Ли подумал: «Что ж, когда-нибудь я его еще увижу. Или, возможно, он забудет про нас». И действительно, пятничный вечер сразу же после отъезда Бена Хэнскома в Англию пришел и ушел без него, хотя Рикки Ли поворачивался к двери на автостоянку всякий раз, когда она

открывалась между восемью и половиной десятого. Что ж, когда-нибудь я его увижу. Возможно. «Когда-нибудь» пришлось на следующий вечер. Дверь открылась в четверть десятого, и он вошел в бар, в джинсах, футболке с надписью «ВПЕРЕД, АЛАБАМА» на груди и саперных сапогах. Выглядел так, словно приехал с другого конца города. А когда Рикки Ли прямо-таки радостно воскликнул: «Эй, мистер Хэнском! Господи! Что вы здесь делаете?» — с легким удивлением посмотрел на бармена, как будто в его появлении здесь не было ну совершенно ничего необычного. И этот вечер не остался единственным. За два года его активного участия в работе над коммуникационным центром Би-би-си он появлялся в «Красном колесе» каждую субботу. В 11:00 вылетал из Лондона на «Конкорде» и прибывал в аэропорт Кеннеди в 10:15, за сорок пять минут до взлета в Лондоне, во всяком случае, по часам. («Господи, это прямо-таки путешествие во времени, так?» — прокомментировал потрясенный Рикки Ли). Стоявший наготове лимузин доставлял его в аэропорт Тетерборо в Нью-Джерси. Субботним утром эта поездка обычно занимала не больше часа. Он мог без всякой спешки подняться в кабину своего «лирджета» до полудня и приземлиться в Джанкинсе к половине третьего. Если достаточно быстро лететь на запад, сказал он Рикки Ли, день мог бы длиться вечно. Проспав два часа, он проводил час с управляющим фермы и полчаса — со своим секретарем. Потом ужинал и приходил в «Красное колесо» часика на полтора. Всегда один, всегда садился за стойку, и всегда уходил один, хотя, видит бог, в этой части Небраски хватало женщин, которые с радостью бы легли под него. На ферме он спал шесть часов, а потом тем же маршрутом, только в обратной последовательности, добирался до Лондона. Эта история производила неизгладимое впечатление на всех посетителей бара. Может, он гей, как-то предположила одна женщина. Рикки Ли коротко глянул на нее, отметил тщательно уложенные волосы, сшитую по фигуре одежду, несомненно, с дизайнерскими ярлыками, бриллиантовые серьги, уверенный взгляд и понял, что она — с востока, вероятно, из Нью-Йорка, а сюда приехала на считанные дни, то ли к родственникам, то ли к давней школьной подруге, и ей не терпится вернуться назад. Нет, ответил он, мистер Хэнском не гомик. Она достала из сумки пачку сигарет «Дорал», зажала одну красными блестящими губами, пока он подносил к ней огонек зажигалки. «Откуда вы знаете?» — спросила она и чуть улыбнулась. Просто знаю, ответил он. И он знал. Подумал о том, чтобы сказать: «Он самый одинокий мужчина, которого мне доводилось встретить за всю мою жизнь». Но он не собирался говорить ничего такого этой нью-йоркской женщине, которая смотрела на него так,

будто видела перед собой новый и забавный вид живых существ.

Сегодня мистер Хэнском выглядел немного побледневшим, немного рассеянным.

— Привет, Рикки Ли, — поздоровался он, усаживаясь, а потом принялся изучать свои руки.

Рикки Ли знал, что мистеру Хэнскому предстояло провести шесть или восемь месяцев в Колорадо-Спрингс, контролируя начало строительства Культурного центра горных штатов, комплекса из шести зданий, «врезанных» в горный склон. «Когда его построят, люди будут говорить, что комплекс напоминает игрушки, которые ребенок-великан разбросал по лестничному пролету, — объяснил он Рикки Ли. — Некоторые обязательно скажут, и отчасти будут правы. Но я думаю, это сработает. Это самый крупный проект, за который я когда-либо брался, и его реализация — чертовски трудная работа, но я думаю, все получится».

Рикки Ли предположил, что у мистера Хэнского легкий приступ того, что актеры называют страхом перед выходом на сцену. Ничего удивительного, и, наверное, так оно и должно быть. Когда ты превращаешься в такую значимую величину, что тебя замечают, ты становишься достаточно большим, чтобы попадать под обстрел критики. А может, он просто приболел. Инфекций нынче хватало, всяких и разных.

Рикки Ли взял пивной стакан со стойки под зеркалом и потянулся к крану «Олимпиады».

— Не надо, Рикки Ли.

Рикки Ли повернулся к нему, удивленный — а когда Бен Хэнском оторвался от своих рук и поднял голову, испугался. Потому что мистер Хэнском не выглядел так, будто у него страх перед выходом на сцену, или он подхватил какой-то вирус, или что-то в этом роде. Он выглядел так, будто только что получил чудовищной силы удар, и до сих пор пытается понять, что же его ударило.

Кто-то умер. Он, конечно, не женат, но у каждого человека есть семья, и кто-то из ближайших родственников сыграл в ящик. И это так же точно, как говно сползает вниз по наклонной стенке унитаза.

Кто-то бросил четвертак в музыкальный автомат, и Барбара Мандрелл запела о пьянице и одинокой женщине.

— У вас все в порядке, мистер Хэнском?

Бен Хэнском вскинул на Рикки Ли глаза, которые в сравнении с его лицом выглядели на десять, нет — на двадцать лет старше, и в этот самый момент бармен с удивлением открыл для себя, что волосы мистера Хэнскома седеют. Раньше он никогда не замечал седины в его волосах.

Хэнском улыбнулся. Жуткой улыбкой призрака. Или трупа.

— Боюсь, что нет, Рикки Ли. Нет, сэр. Не сегодня. Сегодня у меня все отнюдь не в порядке.

Рикки Ли поставил пивной стакан и подошел к тому месту, где сидел Хэнском. Бар-ресторан пустовал, как обычно пустуют по понедельникам бары в период, когда футбольный сезон давно закончился. В зале не насчитывалось и двадцати посетителей. Энни сидела у двери на кухню, играла в криббидж с поваром блюд быстрого приготовления.

— Плохие новости, мистер Хэнском?

— Плохие новости, совершенно верно. Плохие новости из дома. — Он смотрел на Рикки Ли. Он смотрел сквозь Рикки Ли.

— Сочувствую, мистер Хэнском.

— Спасибо, Рикки Ли.

Он замолчал, и Рикки Ли уже собрался спросить, не может ли он чем-нибудь помочь, когда Хэнском задал свой вопрос:

— Какой виски подают в твоём баре, Рикки Ли?

— Для всех остальных в этой дыре — «Четыре розы», — ответил Рикки Ли. — Для вас, думаю, это «Дикая индюшка».

Ответ вызвал у Хэнскома легкую улыбку.

— Это хорошо, Рикки Ли. Я думаю, тебе все-таки стоит взять пивной стакан. Как насчет того, чтобы наполнить его «Дикой индюшкой»?

— Наполнить? — с искренним изумлением переспросил Рикки Ли. — Господи, мне придется выкатывать вас отсюда. — «Или вызывать „скорую помощь“», подумал он.

— Не сегодня, — покачал головой Хэнском. — Сегодня — не придется.

Рикки Ли внимательно заглянул мистеру Хэнскому в глаза, чтобы убедиться, что тот не шутит, и ему потребовалось меньше секунды, чтобы понять: нет, не шутит. Поэтому он взял с полки пивной стакан и извлек из-под стойки бутылку «Дикой индюшки». Горлышко бутылки застучало о край стакана, когда Рикки Ли начал наполнять его виски. Он зачарованно наблюдал, как виски льется в стакан, и решил, что в мистере Хэнском не чуточка техасской экстравагантности, а гораздо больше. Никогда в жизни Рикки Ли не наливал такую большую порцию виски и сомневался, что еще когда-нибудь нальет.

«Вызывать „скорую помощь“, чтоб я сдох! Если он выпьет этот стакан, мне придется звонить Паркеру и Уотерсу в Шведхолм, чтобы приезжали со своим катафалком».

Тем не менее он принес полный стакан и поставил перед Хэнскомом. Отец Рикки Ли как-то сказал ему: «Если человек в здравом уме, ты приносишь ему все, за что он платит, будь это моча или яд». Рикки Ли не знал, хороший это совет или плохой, зато знал другое: если ты зарабатываешь на жизнь за стойкой бара, такие советы не позволяют совести изрубить тебя в капусту.

Хэнском какое-то время задумчиво смотрел на чудовищную порцию виски, потом спросил:

— Сколько я тебе должен за этот стакан, Рикки Ли?

Рикки Ли медленно покачал головой, не отрывая глаз от пивного стакана, наполненного виски.

— Нисколько. За счет заведения.

Хэнском снова улыбнулся, на сей раз более естественно.

— Что ж, спасибо тебе, Рикки Ли. А теперь я хочу показать тебе нечто такое, чему научился в Перу в 1978 году. Я работал с человеком, которого звали Фрэнк Биллингс, можно сказать, учился у него. Думаю, Фрэнк Биллингс был лучшим архитектором в мире. Он подцепил какую-то лихорадку, и врачи кололи ему самые разные антибиотики, но ни один не мог с ней справиться. Биллингс умер, сгорев за две недели. Я хочу показать тебе то, чему научился у индейцев, которые участвовали в этом проекте. Местный самогон был очень крепким. Выпиваешь глоток, и он проскакивает вниз, ты уже думаешь, как все хорошо, и тут кто-то зажигает факел у тебя во рту и пытается запихнуть его в горло. Однако индейцы пили его, как кока-колу, я редко видел кого-то пьяным и никогда не видел, чтобы кто-то страдал от похмелья. Мне не доставало духа пить его, как пили они. Но, думаю, сегодня я попробую. Принеси мне дольки лимона.

Рикки Ли принес четыре и аккуратно положил на новую бумажную салфетку рядом с пивным стаканом виски. Хэнском взял одну дольку, запрокинул голову, как человек, собравшийся закапать капли в глаз, а потом начал выжимать лимонный сок в правую ноздрю.

— Господи Иисусе! — в ужасе воскликнул Рикки Ли.

Горло Хэнского двигалось. Лицо побагровело — а потом Рикки Ли увидел, как слезы текут от уголков глаз к ушам. В музыкальном автомате сменилась пластинка. «Спиннерс»^[43] пели о человеке-резиновой ленте. «О боже, просто не знаю, сколько я смогу выдержать», — пели «Спиннерс».

Хэнском на ощупь нашел на стойке вторую дольку лимона и выжал сок в другую ноздрю.

— Вы же, на хрен, убьете себя, — прошептал Рикки Ли.

Хэнском бросил оба выжатых клинышка на стойку. Его глаза горели красным, он тяжело и часто дышал. Лимонный сок вытекал из ноздрей, прокладывая путь к уголкам рта. Хэнском схватил пивной стакан, поднял и осушил на треть. Замерев, Рикки Ли наблюдал, как кадык мистера Хэнского ходит вверх-вниз.

Архитектор поставил стакан на стойку, дважды содрогнулся, потом кивнул.

Посмотрел на Рикки Ли и чуть улыбнулся. Краснота из глаз ушла.

— Срабатывает, как они и говорили. Ты настолько занят своим носом, что совершенно не чувствуешь, что течет в горло.

— Вы сошли с ума, мистер Хэнском, — просипел Рикки Ли.

— Можешь поспорить на свою шкуру. Помнишь эту фразу, Рикки Ли? В нашем детстве она была в ходу. «Можешь поспорить на свою шкуру». Я тебе говорил, что раньше был толстым?

— Нет, сэр, никогда не говорили, — прошептал Рикки Ли. Он уже не сомневался, что мистер Хэнском получил известие столь чудовищное, что действительно мог рехнуться... во всяком случае, на какое-то время.

— Я был жиртрестом. Никогда не играл в бейсбол или баскетбол. В салочки меня всегда ловили первым, я не мог убежать даже от самого себя. Я был толстым, все так. И в моем родном городе жили парни, которые частенько гонялись за мной. Реджинальд Хаггинс, которого все звали Рыгало Хаггинс. Виктор Крисс. Несколько других. Но мозговым центром той компании был Генри Бауэрс. Если эту землю когда-нибудь и топтал ногами действительно гадкий мальчишка, Рикки Ли, то это был Генри Бауэрс. Он гонялся не только за мной. Моя беда была в том, что я не мог убегать так быстро, как остальные.

Хэнском расстегнул пуговицы рубашки, распахнул ее. Наклонившись вперед, Рикки Ли увидел необычной формы шрам. На животе мистера Хэнскома, повыше пупка. Побелевший, разгладившийся, старый. Буква! Кто-то вырезал заглавную букву «Эйч» на животе мужчины, судя по всему, задолго до того, как мистер Хэнском стал мужчиной.

— Это сделал со мной Генри Бауэрс. Тысячу лет тому назад. Мне повезло, что он не вырезал у меня на животе все свое чертово имя. [\[44\]](#)

— Мистер Хэнском...

Хэнском взял две другие лимонные дольки, по одной в руку, запрокинул голову и закапал в ноздри лимонный сок. Содрогулся, положил выжатые клинышки на стойку, сделал два больших глотка из стакана. Опять содрогулся, сделал еще глоток, ухватился за край стойки, закрыл глаза. На

какие-то мгновения застыл, держась за стойку, как человек на яхте, плывущей по бурному морю, держится за леер, чтобы его не снесло за борт. Потом открыл глаза и улыбнулся Рикки Ли:

— Я могу играть в эту игру всю ночь.

— Мистер Хэнском, мне бы хотелось, чтобы вы это прекратили, — нервно бросил Рикки Ли.

Подошла Энни с подносом, попросила налить два «Миллера». Рикки Ли наполнил два стакана, отдал ей. Ноги у него стали ватными.

— С мистером Хэнском все в порядке, Рикки Ли? — спросила Энни. Смотрела она мимо него, и Рикки Ли повернулся, чтобы проследить ее взгляд. Мистер Хэнском перегнулся через стойку и осторожно брал дольки лимона из пластиковой коробки, в которой Рикки Ли держал фрукты для напитков.

— Не знаю. Думаю, что нет.

— Тогда вынь палец из своей задницы и сделай что-нибудь. — Энни, как и большинство других женщин, нервно дышала к Бену Хэнскому.

— Не могу. Мой отец всегда говорил, если человек в здравом уме...

— Твоему отцу Бог дал меньше мозгов, чем суслику. Оставь своего отца в покое. Ты должен положить этому конец, Рикки Ли. Он же собирается себя убить.

Получив указание к действию, Рикки Ли вернулся к тому месту, где сидел Бен Хэнском.

— Мистер Хэнском, я действительно думаю, что...

Хэнском запрокинул голову. Выжал обе дольки. Фактически втянул в себя сок, словно кокаин. Глотнул виски, как воду. Строго посмотрел на Рикки Ли.

— Бух-бах, мы танцуем и поем, очень весело живем, — прервал он Рикки Ли и рассмеялся. Виски в стакане осталось на доньшке.

— Этого достаточно. — Рикки Ли потянулся к стакану.

Хэнском мягко отодвинул его за пределы досягаемости.

— Хуже уже не будет, Рикки Ли. Хуже уже не будет, друг мой.

— Мистер Хэнском, пожалуйста...

— У меня кое-что есть для твоих мальчишек, Рикки Ли. Черт, я чуть не забыл!

Он полез в один из карманов вылинявшей джинсовой жилетки, надетой поверх рубашки. Рикки Ли услышал приглушенный звон.

— Мой отец умер, когда мне было четыре года, — продолжил Хэнском. Язык его нисколько не заплетался. — Оставил нам кучу долгов и это. Я хочу отдать их твоим мальчишкам, Рикки Ли. — Он положил на стойку три серебряных доллара, и монеты заблестели под мягким светом ламп.

У Рикки Ли перехватило дыхание.

— Мистер Хэнском, вы очень добры, но я не могу...

— Их было четыре, но один я отдал Заике Биллу и остальным. Билл Денбро, так его звали на самом деле. Это мы называли его Заикой Биллом... так же, как говорили «Можешь поспорить на свою шкуру». Он был одним из моих лучших друзей... нескольких моих лучших друзей. Даже у такого толстяка, как я, могло быть несколько друзей. Теперь Заика Билл писатель.

Рикки Ли практически не слышал мистера Хэнскома, он зачарованно смотрел на большие серебряные монеты, «фургонные колеса». Отчеканенные в 1921-м, 1923-м и 1924-м годах. Одному Богу известно, сколько они сейчас стоили, даже если говорить только о серебре, из которого их изготовили.

— Я не могу, — повторил он.

— Но я настаиваю. — Мистер Хэнском поднял пивной стакан и допил виски. Ему полагалось лежать в отрубе, но его глаза не отрывались от лица

Рикки Ли. Глаза эти чуть слезились, налились кровью, но Рикки Ли поклялся бы на стопке Библий, что на него смотрели глаза трезвого человека.

— Вы малость пугаете меня, мистер Хэнском, — ответил ему Рикки Ли. Двумя годами раньше Грешэм Арнольд, алкаш, в определенном смысле местная знаменитость, пришел в «Красное колесо» с валиком аккуратно завернутых в бумажку четвертаков в руке и двадцаткой, засунутой под ленту шляпы. Валик протянул Энни, наказав ей скармливать четвертаки музыкальному автомату по четыре разом. Двадцатку положил на стойку и велел Рикки Ли угощать всех. Этот алкаш, этот Грешэм Арнольд, когда-то давно был звездой школьной баскетбольной команды «Хемингфордские тараны» и привел их к первой (и скорее всего последней) победе в чемпионате средних школ. Случилось это в 1961 году. Тогда перед ним открывалось радужное будущее, но после первого семестра его выгнали из университета Луизианы: он пал жертвой выпивки, наркотиков, ночных гулянок. Грешэм вернулся домой, разбил желтый кабриолет, который родители подарили ему на окончание школы, пошел работать старшим продавцом в дилерский центр тракторов «Джон Дир», принадлежащий его отцу. Прошло пять лет. Отец не мог заставить себя уволить его, поэтому продал дилерский центр и уехал в Аризону, состарился раньше времени, глядя на необъяснимую и, по всей видимости, необратимую деградацию сына. Пока дилерский центр принадлежал его отцу, младший Арнольд хотя бы ходил на работу, он предпринимал хоть какие-то усилия, чтобы не давать себе волю с выпивкой. Но после того как дилерский центр перешел в другие руки, его уже больше ничего не сдерживало. Он бывал злобным, но в тот день, когда появился в «Красном колесе» с четвертаками и поставил всем выпивку, был мягким и пушистым, как котенок, и все тепло благодарили его, а Энни ставила песни Мо Бэнди, потому что Грешэм Арнольд любил Мо Бэнди. Он сидел в баре (на том самом стуле, где сейчас сидел мистер Хэнском, внезапно осознал Рикки Ли, и его тревога только усилилась), выпил три или четыре стаканчика бурбона с горькой настойкой, пел вместе с музыкальным автоматом, никому не доставлял хлопот, ушел домой после того, как Рикки Ли закрыл «Колесо», и повесился на ремне в чулане наверху. И глаза Грешэма Арнольда в тот вечер чуть напоминали глаза Бена Хэнскома в этот самый момент.

— Немного пугаю тебя, да? — спросил Хэнском, не отрывая взгляда от Рикки Ли. Он отодвинул пивной стакан и аккуратно положил руки на

стойку, перед тремя серебряными долларами. — Но ты испуган не так, как я, Рикки Ли. Молись Господу, чтобы тебе никогда не испытать такого страха.

— А в чем дело? — спросил Рикки Ли. — Может... — Он облизнул губы. — Может, я могу помочь?

— В чем дело? — Бен Хэнском рассмеялся. — Знаешь, ничего особенного. Сегодня вечером позвонил мой давний друг. Его зовут Майк Хэнлон. Я все о нем забыл, Рикки Ли, но меня это особо не испугало. В конце концов, я знал его ребенком, а дети забывчивы, так? Конечно, забывчивы. Можешь поспорить на свою шкуру. Испугало меня другое. На полпути сюда до меня дошло, что я забыл не только Майка. Я забыл о том, что был ребенком.

Рикки Ли молча смотрел на него. Не понимал, о чем говорил мистер Хэнском... но он боялся, все так. Сомнений тут быть не могло. Страх действовал на Бена Хэнскома странным образом, но был настоящим.

— Я хочу сказать, что забыл все. — Костяшками правой руки он легонько постучал по стойке, подчеркивая свои слова. — Ты когда-нибудь слышал, Рикки Ли, об абсолютной амнезии, когда ты даже не знаешь, что у тебя амнезия?

Рикки Ли покачал головой.

— Я тоже. Но сегодня вечером, когда я ехал в «кэдди», воспоминания внезапно обрушились на меня. Я вспомнил Майка Хэнлона, но только потому, что он позвонил мне по телефону. Я вспомнил Дерри, но только потому, что оттуда он звонил.

— Дерри?

— Но это все. А поразило меня то, что я не думал о том, что был ребенком с... даже не знаю, с каких времен. А потом воспоминания хлынули потоком. В том числе я вспомнил, что мы сделали с четвертым серебряным долларом.

— И что вы с ним сделали, мистер Хэнском?

Хэнском посмотрел на часы, внезапно соскользнул со стула. Чуть

покачнулся... самую малость. И все.

— Не могу больше тратить время. Сегодня я улетаю.

На лице Рикки Ли тут же отразилась тревога, и Хэнском рассмеялся:

— Улетаю, а не сажусь за штурвал. Сегодня — нет. Рейсом «Юнайтед эйрлайнс», Рикки Ли.

— Ох. — Наверное, на лице его тревога сменилась облегчением, но ему было без разницы. — И куда летите?

Рубашка Хэнскома оставалась распахнутой. Он посмотрел на перекрестные белые линии старого шрама на животе и начал застегивать пуговицы.

— Думал, что говорил тебе, Рикки Ли. Домой. Я лечу домой. Отдай эти доллары своим мальчишкам. — Он двинулся к двери и что-то в его походке, даже в том, как он подтянул штаны, ужаснуло Рикки Ли. Сходство с умершим и не вызвавшим всеобщей скорби Грешэмом Арнольдом вдруг стало таким явным, что создалось ощущение, будто он видит призрак.

— Мистер Хэнском! — в испуге выкрикнул он.

Хэнском обернулся, и Рикки Ли быстро отступил на шаг. Ткнулся задом в столик под зеркалом. Зазвенели стаканы, стоявшие рядышком бутылки стукнулись друг о друга. Он отступил на шаг, потому что со всей очевидностью понял — Бен Хэнском мертв. Да, Бен Хэнском где-то лежит мертвым, в кювете, на чердаке, а возможно, висит в чулане с ремнем на шее, и носки его ковбойских сапог стоимостью в четыре сотни долларов на дюйм или два не достают до пола, а рядом с музыкальным автоматом стоял и смотрел на него призрак. На мгновение (только на мгновение, но этого хватило, чтобы гулко бьющееся сердце покрылось коркой льда) он убедил себя, что может видеть сквозь этого человека столы и стулья.

— Что такое, Рикки Ли?.

— Н-н... ничего.

Бен Хэнском смотрел на Рикки Ли. Под глазами висели лиловые мешки, щеки горели от выпитого виски, ноздри покраснели, как при простуде.

— Ничего, — вновь прошептал Рикки Ли, но не мог оторвать взгляда от этого лица, от лица человека, который умер, погрязнув в грехе, и теперь стоит перед дымящейся боковой дверью ада.

— Я был толстым, а наша семья — бедной, — заговорил Бен Хэнском. — Теперь я это помню. И я помню, что то ли девочка, которую звали Беверли, то ли Заика Билл спасли мою жизнь с помощью серебряного доллара. Я до безумия боюсь того, что еще могу вспомнить, прежде чем закончится этот день, но мой испуг не имеет ровно никакого значения, потому что я обязательно все вспомню. Все воспоминания остались, они растут в моем сознании, как большой пузырь. Но я еду по одной причине: всем, что у меня когда-то было и есть сейчас, я обязан тому, что мы тогда сделали, а в этом мире принято платить за то, что ты получаешь. Возможно, поэтому Бог создал нас сначала детьми, чтобы мы были ближе к земле. Он знал, что тебе придется часто падать и разбиваться в кровь, прежде чем ты выучишь этот простой урок. Ты платишь за то, что получаешь, тебе принадлежит то, за что ты платишь... и рано или поздно то, что тебе принадлежит, возвращается к тебе.

— Вы ведь вернетесь на уик-энд, да? — спросил Рикки Ли онемевшими губами. Тревога его росла, и он смог найти и ухватиться только за эту соломинку. — Вы появитесь у нас в этот уик-энд, как и всегда?

— Не знаю, — ответил мистер Хэнском и улыбнулся жуткой улыбкой. — На этот раз я отправляюсь куда дальше Лондона, Рикки Ли.

— Мистер Хэнском!..

— Отдай эти монеты своим мальчишкам, — повторил Хэнском и выскользнул в ночь.

— Что за черт? — спросила Энни, но Рикки Ли не обратил на нее внимания. Он откинул перегородку, выскочил из-за барной стойки, подбежал к одному из окон, выходящих на автомобильную стоянку. Увидел, как вспыхнули фары «кэдди» мистера Хэнскома, услышал, как заработал двигатель. Он выехал со стоянки, подняв шлейф пыли. Красные фонари превращались в красные точки, по мере того, как «кэдди» уезжал все дальше по шоссе 63, а ночной ветер Небраски разгонял поднятую пыль.

— Он столько выпил, а ты позволил ему сесть за руль большого

автомобиля и уехать, — набросилась на Рикки Ли Энни. — Ну, ты и гусь, Рикки Ли.

— Не бери в голову.

— Он же убьется.

И хотя именно так Рикки Ли думал пятью минутами раньше, он повернулся к Энни, когда задние огни «кэдди» скрылись из виду, и покачал головой:

— Сомневаюсь. Хотя судя по тому, как он выглядел, для него было бы лучше, если б убился.

— Что он тебе сказал?

Рикки Ли снова покачал головой. Все, сказанное мистером Хэнском, смешалось в кучу, а в итоге получался пшик.

— Не важно. Но не думаю, что мы еще его увидим.

Эдди Каспбрэк собирает лекарства

Если вы хотите узнать все, что нужно знать об американце или американке, принадлежащих к среднему классу и живущих в самом конце второго тысячелетия, вам нужно всего лишь заглянуть в его или ее шкафчик-аптечку — так по крайней мере говорят. Но, Господи Иисусе, загляните в тот, что открывает Эдди Каспбрэк, сдвигая дверцу-зеркало, стирая тем самым свое бледное лицо и широко раскрытые глаза.

На верхней полке — анацин, экседрин, экседрин ПМ, контакт, гелусил, тайленол, большая синяя банка растирки «Викс» (густые сумерки, укрывшиеся за стеклом), бутылочка виварина, бутылочка серутана (серутан — это от природы, только наоборот, как говорил Лоуренс Уэлк,[\[45\]](#) когда Эдди Каспбрэк был еще маленьким), две бутылочки магнезии Филлипса, обычной, по вкусу напоминавшей жидкий мел, и с новым мятным вкусом, тот же жидкий мел, но с привкусом мяты. Большой флакон «Ролэйдс» по-приятельски соседствует с большим флаконом «Тамс».[\[46\]](#) Следом за «Тамс» стоит большой флакон таблеток ди-гель с апельсиновым вкусом. Все три напоминают копилки, наполненные таблетками вместо монет.

Вторую полку занимают витамины: витамин Е, витамин С, витамин С с плодами шиповника. Просто витамин В, комплекс витаминов В и витамин В-12. Лизин, который должен помогать при раздражениях кожи, лецитин, который должен препятствовать повышению холестерина внутри и вокруг Большого насоса. Препараты железа, кальция и рыбий жир. Мультикомплекс «Одна-в-день». Мультикомплекс «Миадекс». Мультикомплекс «Центрум». И на шкафчике-аптечке — огромная бутылка геритола, для полного комплекта.

Спустившись на третью полку, мы попадаем в мир практичных представителей патентованных лекарств. Экс-лакс. Маленькие пилюли Картера. Эти два препарата способствуют перемещению «почты» по кишечнику Эдди Каспбрэка. Компанию им составляют каопектат, пепто-бисмол и преперейшн-эйч, на случай, если «почта» движется слишком быстро или болезненно. Гигиенические салфетки «Такс» в банке с

навинчивающейся крышкой необходимы, чтобы прибраться после доставки «почты», независимо от того, состоит она из одного-двух рекламных листов или прибывает большая посылка. Формула-44 помогает при кашле, найкуил и драйстан — при простуде. Есть и бутылка касторового масла. С покраснением горла могут бороться пастилки «Сукретс» в жестянке. Растворов для полоскания рта Эдди держит четыре: хлорасептик, цепакол, цепестат (спрей) и, разумеется, проверенный листерин, который часто имитировали, но так и не смогли создать полный аналог. Визин и мюрин — для глаз. Кортейд и мазь неоспорин — от повреждений кожи (вторая линия защиты, если лизин не оправдывал ожиданий). Тюбик окси-5 соседствует с пластиковой бутылочкой окси-уош (Эдди предпочитал иметь на несколько центов меньше, чем на несколько прыщей больше). Тут же тетрациклиновые капсулы.

А в самом углу, отдельно, как какие-то конспираторы — три бутылки угольно-дегтярного шампуня.

Нижняя полка практически пуста, но лекарства на ней — куда более серьезные. Ладно, вы можете ознакомиться с ее содержимым. На этих таблетках можно улететь выше, чем на реактивном самолете Бена Хэнскома, и разбиться сильнее, чем Турман Мансон.[\[47\]](#) Тут валиум, перкодан, элавил и дарвон-комплекс. На этой полке стоит еще одна жестянка пастилок «Сукретс», но самих пастилок в ней нет. В жестянке — шесть таблеток куаалюда.

Эдди Каспбрэк верил в девиз бойскаутов.[\[48\]](#)

Он вошел в ванную, размахивая большой хозяйственной сумкой. Поставил ее на раковину, расстегнул молнию, а потом трясущимися руками начал загружать туда пузырьки, бутылочки и бутылки, банки, тюбики, пластиковые бутылочки и спреи. При других обстоятельствах он аккуратно перекладывал бы их одну за другой, но для столь почтительного отношения времени сейчас не было. Потому что выбор, как это представлялось Эдди, стоял перед ним простой и жесткий: двигаться и продолжать двигаться или оставаться на одном месте достаточно долго для того, чтобы задуматься, что все это значит, и умереть от страха.

— Эдди? — позвала снизу Майра. — Эдди, что ты там де-е-е-елаешь?

Эдди бросил в сумку жестянку из-под пастилок, в которой теперь лежали таблетки куаалюда. Шкафчик-аптечка практически опустел. В нем остались только мидол Майры и выжатый чуть ли не до конца тюбик блистекса. Эдди замялся, потом схватил блистекс. Начал застегивать молнию, посоветовался сам с собой и отправил в сумку мидол. Майра всегда могла его купить.

— Эдди? — Майра уже преодолела половину лестницы.

Эдди до конца застегнул молнию и вышел из ванной, размахивая сумкой. Невысокий мужчина, с мягким лицом, в котором было что-то от кролика. Большинства волос он уже лишился, остальные росли островками, которые постоянно уменьшались. Вес сумки заставлял его клониться в сторону.

Огромных габаритов женщина медленно поднималась на второй этаж. Эдди слышал, как протестующе скрипели под ней ступени.

— Что ты ДЕ-Е-Е-ЕЛАЕШЬ?

Эдди не требовался психоаналитик, чтобы понять: женился он в определенном смысле на своей матери. Габариты Майры Каспбрэк потрясали. Пятью годами раньше, когда Эдди женился на ней, она была всего лишь крупной женщиной, но он подсознательно чувствовал (иногда приходили к нему такие мысли), что она будет прибавлять и прибавлять. Белая ночная рубашка вздымалась волнами на груди и бедрах. И каким-то образом Майра стала еще более огромной, когда добралась до лестничной площадки второго этажа. Ее бледное, ненакрашенное лицо блестело. Выглядела она жутко испуганной.

— Мне нужно ненадолго уехать, — объяснил Эдди.

— Что значит «уехать»? Кто тебе звонил?

— Не важно. — Он проскочил через коридор в гардеробную. Поставил хозяйственную сумку на пол, открыл складную дверь шкафа, сдвинул в сторону полдесятка одинаковых черных костюмов, которые висели рядком, выделяясь грозovým облаком среди другой, более яркой одежды. На работу он всегда надевал черный костюм. Он наклонился в глубины шкафа, где пахло пылью и шерстью, вытащил один из чемоданов, стоявших у дальней стены. Раскрыл и начал бросать туда одежду.

На него упала тень Майры.

— Что все это значит, Эдди? Куда ты собираешься? Скажи мне!

— Я не могу тебе сказать!

Майра стояла, наблюдая за ним, пытаясь решить, что теперь сказать, что сделать. Возникла мысль запихнуть его в шкаф и придавить дверь своим телом, пока не пройдет этот приступ безумия, но она не могла заставить себя пойти на такое, хотя у нее наверняка бы получилось: ростом она превосходила Эдди на три дюйма, а весила на сотню фунтов больше. Она не знала, ни что ей сделать, ни что сказать, потому что никогда еще он так себя не вел. Не могла сказать, испугалась бы она еще больше, если б вошла в гостиную и увидела их новенький телевизор с большим экраном, парящим в воздухе.

— Ты не можешь уехать, — услышала она свой голос. — Ты обещал принести мне автограф Аль Пачино. — Абсурд, конечно, Бог свидетель, но в такой момент и от абсурда толку больше, чем от молчания.

— Ты и без меня можешь получить этот автограф. Завтра сама будешь возить его по городу.

Ох, новый ужас присоединился к тем, что уже ворочались в ее бедной голове. Она вскрикнула.

— Я не смогу. Я никогда...

— Тебе придется. — Теперь он подбирал обувь. — Больше никому.

— На меня ни одна униформа не налезет — они узки мне в груди.

— Попроси Долорес расставить какую-нибудь, — жестко ответил Эдди. Бросил в чемодан две пары черных туфель, нашел пустую коробку, положил в нее третью пару. Хорошие черные туфли, их еще носить и носить, но выглядели они слишком потрепанными для работы. Если ты зарабатываешь на жизнь тем, что возишь по Нью-Йорку богачей, зачастую знаменитых богачей, все должно быть в лучшем виде. Эти туфли так не выглядели — но вполне могли сгодиться там, куда он отправлялся. И для того, что ему, возможно, придется делать, когда он доберется туда. Может,

Ричи Тозиер...

Но тут в глазах потемнело, и он почувствовал, как начинает сдавливать горло. Эдди запаниковал — до него дошло, что, запаковав в сумку всю чертову аптеку, он оставил самое важное, свой ингалятор, на первом этаже, на стереосистеме.

Он захлопнул крышку чемодана, щелкнул замками. Повернулся к Майре, которая стояла в коридоре, прижав руку к короткой толстой колонне шеи, словно это она страдала астмой. Она просто смотрела на него, на лице читались недоумение и страх, и он бы мог пожалеть ее, если б его сердце не переполнял ужас за себя.

— Что случилось, Эдди? Кто тебе звонил? У тебя неприятности? Неприятности, да? Что у тебя за неприятности?

Он направился к ней, с хозяйственной сумкой в одной руке и чемоданом в другой. Теперь он не клонился в одну сторону, потому что сумка и чемодан уравнивали друг друга. Жена встала перед ним, перекрыв путь к лестнице, и поначалу он подумал, что она не сдвинется с места. Но в последний момент, когда его лицо едва не ткнулось в мягкий заслон ее груди, Майра отступила, испугавшись. А когда он проходил мимо, не сбавляя шагу, разрыдалась.

— Я не могу возить Аль Пачино! — заверещала она. — Я врежусь в знак «Стоп» или куда-нибудь еще. Я знаю, что врежусь, Эдди. Я бою-ю-ю-юсь!

Он посмотрел на часы «Сет Томас»,^[49] стоявшие на столике у лестницы. Двадцать минут десятого. В «Дельте» какая-то дама официальным голосом сказала ему, что на последний самолет в Мэн, вылетающий из Ла-Гуардии в 20:25, он уже опоздал. Он позвонил в «Амтрак», и узнал, что последний поезд в Бостон отправляется с Пенн-стейшн в одиннадцать тридцать. На нем он мог добраться до Саут-стейшн, а оттуда взять такси до офиса «Кейп-Код лимузин» на Арлингтон-авеню. «Кейп-Код» и компания Эдди, «Ройал крест» много лет плодотворно сотрудничали. Один звонок Бутчу Кэррингтону в Бостон, и проблема с транспортом для поездки на север решилась: Бутч сказал, его будет ждать заправленный и готовый к отъезду «кадиллак». Так что он мог еще и проехаться с шиком, поскольку его не будет доставать рассеявшийся на заднем сиденье клиент, попыхивающий

вонючей сигарой и спрашивающий, не знает ли Эдди, где найти девочку, или несколько граммов кокаина, или и то, и другое.

«Проехаться с шиком, это точно», — подумал он. Шика этого могло прибавиться только в одном случае — если б его везли в катафалке. Но не волнуйся, Эдди. Обратно, тебя, возможно, так и повезут. Если, конечно, останется, что везти.

— Эдди?

Двадцать минут десятого. Еще есть время поговорить с ней, есть время проявить доброту. Ах, насколько было бы лучше, если б в этот вечер она играла в вист. Он бы просто выскользнул из дома, оставив записку под магнитом на двери холодильника (он всегда оставлял записки Майре на холодильнике, потому что там она их обязательно замечала). В таком уходе, чего там, побеге, не было ничего хорошего, но сейчас получалось только хуже. Все равно что вновь покидать дом, и давалось ему это так же тяжело, как и первые три раза.

«Дом там, где сердце, — вдруг подумал Эдди. — Я в это верю. Старина Бобби Фрост[\[50\]](#) говорил, что дом — то место, где тебя должны принять, когда ты туда придешь. К сожалению, это еще и место, откуда тебя не хотят выпускать, раз уж ты туда пришел».

Он стоял на верхней ступеньке, временно утратив способность двигаться, обуянный страхом — воздух со свистом входил и выходил через игольное ушко, в которое превратилось дыхательное горло, — и смотрел на плачущую жену.

— Пойдем со мной вниз, и я расскажу все, что смогу, — предложил он.

В прихожей, у парадной двери, Эдди опустил на пол свою ношу, чемодан с вещами и хозяйственную сумку с лекарствами. Тут он вспомнил кое-что еще — или скорее призрак матери, которая умерла давным-давно, но частенько разговаривала с ним в его голове, напомнил ему.

«Ты знаешь, когда у тебя промокают ноги, ты сразу простужаешься, Эдди... в отличие от других у тебя очень слабая иммунная система, поэтому тебе нужно соблюдать осторожность. Вот почему в дождь ты всегда должен надевать галоши».

В Дерри частенько лило. Эдди открыл дверь стенного шкафа в прихожей, снял галоши с крючка, на котором они висели, аккуратно сложенные в пластиковом мешке, и положил в чемодан. «Хороший мальчик, Эдди».

Они с Майрой смотрели телевизор, когда грянул гром. И теперь Эдди вернулся в гостиную, где стоял телевизор «Мюралвижн», и нажатием кнопки опустил экран, такой огромный, что по воскресеньям Фримен Макнил[51] выглядел на нем заезжим гостем с Бробдингнега. Он снял трубку с телефонного аппарата и вызвал такси. Диспетчер пообещал, что машина подъедет через пятнадцать минут. Эдди ответил, что его это вполне устраивает.

Он положил трубку и схватил ингалятор, лежавший на их дорогом проигрывателе компакт-дисков «Сони». «Я потратил полторы тысячи баксов на первоклассную стереосистему, чтобы Майра не упустила ни одной золотой ноты, слушая свои записи Барри Манилоу и „Величайшие хиты „Супримс““», — подумал он и тут же почувствовал укол совести. Жену он обвинял напрасно — он чертовски хорошо знал, что Майра слушала старые поцарапанные пластинки с тем же удовольствием, что и новые, размером с сорокапятку, [52] лазерные диски, точно так же, как с радостью жила бы в Куинсе, в их маленьком четырехкомнатном домике, пока оба не состарились бы и не поседели (и, по правде говоря, на горе Эдди Каспбрэка уже появился снежок). Он купил стереосистему класса «люкс» по той же причине, что и дом из плитняка на Лонг-Айленде, где они вдвоем напоминали две последние горошины в консервной банке, — потому что мог себе это позволить и потому что этим он ублажал мягкий, испуганный, часто недоумевающий, но всегда безжалостный голос матери; этим он говорил: «Я это сделал, мамуля! Посмотри! Я это сделал! А теперь будь так любезна, ради бога, хоть на время заткнись!»

Эдди сунул ингалятор в рот, как человек, имитирующий самоубийство, и нажал на клапан. Облако отвратительно лакричного вкуса заклубилось и устремилось в горло. Эдди глубоко вдохнул. Почувствовал, как освобождаются почти полностью перекрытые дыхательные пути. Сдавленность уходила из груди, но внезапно он услышал в голове голоса, голоса-призраки.

«Разве вы не получили записку, которую я вам посылала?»

«Получил, миссис Каспбрэк, но...»

«Что ж, на случай, если вы ее не прочитали, тренер Блэк, позвольте мне озвучить ее лично. Вы готовы?»

«Миссис Каспбрэк...»

«Хорошо. Тогда слушайте. С моих губ да в ваши уши. Готовы? Мой Эдди не может заниматься физкультурой. Повторяю: он не МОЖЕТ заниматься физкультурой. Эдди очень слабенький, и если он побежит... если он прыгнет...»

«Миссис Каспбрэк, у меня в кабинете лежат результаты последнего медосмотра Эдди. Это требование департамента образования штата. Там указано, что рост Эдди чуть меньше нормы для его возраста, но в остальном он в полном здравии. Я позвонил вашему семейному врачу, чтобы развеять последние сомнения, и он подтвердил...»

«Вы говорите, что я лгуня, тренер Блэк? Это так? Что ж, вот он, Эдди, стоит рядом со мной! Вы слышите, как он дышит? СЛЫШИТЕ?»

«Мама... пожалуйста... все у меня хорошо...»

«Эдди, ты лучше помолчи. Или ты забыл, чему я тебя учила? Не перебивай старших».

«Я слышу, миссис Каспбрэк, но...»

«Слышите? Это хорошо! Я думала, может, вы оглохли! Он дышит, как грузовик, поднимающийся в гору на низкой передаче, так? И если это не астма...»

«Мама, я не...»

«Успокойся, Эдди, не перебивай меня. Если это не астма, тренер Блэк, тогда я королева Елизавета!»

«Миссис Каспбрэк, Эдди нравится заниматься физкультурой. Он любит игры и бежит очень даже быстро. В моем разговоре с доктором Бейнсом упоминался термин „психосоматический“. Я думаю, вы не рассматривали

вероятность того...»

«...что мой сын — сумасшедший? Вы это пытаетесь мне сказать? ВЫ ПЫТАЕТЕСЬ СКАЗАТЬ, ЧТО МОЙ СЫН — СУМАСШЕДШИЙ?»

«Нет, но...»

«Он слабенький».

«Миссис Каспбрэк...»

«Мой сын очень слабенький».

«Миссис Каспбрэк, доктор Бейнс подтвердил, что физически Эдди...»

— ...совершенно здоров, — закончил Эдди. Этот унижительный эпизод (его мать кричала на тренера Блэка в спортивном зале начальной школы Дерри, когда он стоял рядом с ней, сжавшись в комок, а другие дети собрались под одним из баскетбольных колец и наблюдали) вспомнился ему впервые за долгие годы. И он знал — это не единственное воспоминание, которое разбудил телефонный звонок Майка Хэнлона. Уже чувствовал, как многие другие, такие же плохие или еще хуже, толкнутся у входа в его сознание, совсем как толпа рвущихся на распродажу покупателей, штурмующая узкое горлышко — двери универмага. Но горлышко не могло их сдержать. Он в этом не сомневался. И что они найдут на этой распродаже? Его рассудок? Возможно. За полцены. С повреждениями от дыма и воды. Все должно уйти.

— Физически совершенно здоров, — повторил он, глубоко, со всхлипами вдохнул и сунул ингалятор в карман.

— Эдди, — взмолилась Майра, — пожалуйста, скажи, что все это значит?

Дорожки от слез заблестели на пухлых щеках. Руки, сведенные вместе, пребывали в непрерывном мельтешении, пара играющих безволосых, розовых зверьков. Однажды, буквально перед тем, как предложить Майре выйти за него замуж, он взял ее фотографию, которую она ему подарила, и поставил рядом с фотографией матери, скончавшейся от острой сердечной недостаточности в шестьдесят четыре года. Ко дню смерти мать Эдди весила больше четырехсот фунтов — если точно, четыреста шесть.

Выглядела она тогда чудовищно, не тело, а раздувшиеся грудь, зад и живот, и поверх этого — одутловатое, постоянно испуганное лицо. Но фотографию, рядом с которой он поставил фотографию Майры, сделали в 1944 году, за два года до его рождения (**«Младенцем ты постоянно болел, — прошептал в ухо голос призрака матери. — Мы постоянно дрожали за твою жизнь...»**). В 1944 году мать была вполне стройной женщиной и весила всего лишь сто восемьдесят фунтов.

Это сравнение он провел, вероятно, в последней отчаянной попытке остановить себя от психологического инцеста. Он переводил взгляд с матери на Майру и обратно.

Они могли бы быть сестрами — так походили друг на друга.

Эдди смотрел на две практически идентичные фотографии и говорил себе, что никогда не совершит такого безумства. Он знал, что парни на работе уже отпускали шуточки насчет Джека Спрата и его жены,[\[53\]](#) но они ничего не знали о его матери. Шутки и насмешки он еще мог снести, но действительно ли хотел стать клоуном в этом фрейдистском цирке? Нет. Не хотел. Он решил, что порвет с Майрой. Сделает это мягко, не травмируя ее нежную душу, потому что опыта по части мужчин у нее было даже меньше, чем у него — по части женщин. А потом, после того как она уплыла бы с горизонта его жизни, он мог бы начать брать уроки тенниса, о чем давно мечтал (Эдди нравится заниматься физкультурой), или купить абонемент в бассейн отеля «Плаза» (он любит игры), не говоря уже о клубе здоровья, который открылся на Третьей авеню напротив гаража...

(Эдди бежит очень даже быстро когда рядом нет никого кто мог бы напомнить ему какой он слабенький и я вижу по его лицу миссис Каспбрэк что даже в девятилетнем возрасте он знает что самый лучший подарок который он может сделать себе в этом мире убежать в любом направлении в котором вы миссис Каспбрэк не разрешаете ему убежать).

Но в итоге он все равно женился на Майре. В итоге устоявшийся образ жизни и старые привычки оказались слишком сильны. И дом оказался тем самым местом, где тебя сажают на цепь, когда ты приходишь туда. Да, конечно, он мог прогнать пинками призрак матери. Это далось бы ему нелегко, но он знал, что такое ему по силам, если бы от него требовалось

только это. Это Майра не дала ему вырваться на свободу, обрести независимость. Приговорила его к новому сроку своей заботливостью, спеленала тревогой, заковала в цепи лаской. Майра, как и его мать, открыла для себя тайну его характера: Эдди отличала особая болезненность, потому что иногда он подозревал, что никаких болезней у него нет; требовалось оберегать Эдди от всех его робких потуг проявить храбрость и мужество.

В дождливые дни Майра обязательно доставала галоши из пластикового мешка в стенном шкафу и ставила у вешалки рядом с дверью. Помимо гренка из пшеничной муки (без масла) на стол перед Эдди каждое утро ставилось блюдечко, многоцветное содержимое которого с первого взгляда казалось переслащенными фигурками из овсяной муки (теми, что дают детям). На самом деле на блюдечке лежали витамины (из тех самых бутылочек, которые Эдди сгреб в хозяйственную сумку). Майра, как его мать, интуитивно все поняла, так что шансов у него не было. Молодым и неженатым он трижды уходил от матери и трижды возвращался домой. Потом, через четыре года после того, как его мать умерла в прихожей своей квартиры в Куинсе, так заблокировав входную дверь собственным телом, что бригаде «скорой помощи» (их вызвали соседи снизу, когда услышали грохот, с каким миссис Каспбрэк упала на пол для последнего отсчета) пришлось ломать запертую дверь из кухни на лестницу черного хода, он вернулся домой в четвертый и последний раз. Во всяком случае, тогда он верил, что это будет последний раз. Снова дома, снова дома, Боже милостивый мой, снова дома, снова дома, с Майрой-свиньей. Она была свиньей, но не просто толстой, а еще и дорогой ему свиньей: он ее любил, так что никакого шанса для него практически не было. Она притянула его к себе змеиным гипнотическим взглядом понимания. «Снова дома и насовсем», — тогда подумал он.

«Но, может, я ошибался, — подумал он теперь. — Может, это не дом, и никогда не был домом... может, дом — то самое место, куда я должен сегодня ехать. Дом — место, где ты должен, когда приходишь туда, столкнуться лицом к лицу с тварью в темноте».

Его затрясло, словно он вышел на улицу без галош и сильно простудился.

— Эдди, пожалуйста!

Она снова заплакала. Слезы были ее последней линией обороны, как и у

его матери: жидкое оружие, вызывающее паралич, превращающее добро и нежность в фатальные бреши в броне.

Да и не носил он никакой брони — доспехи не очень-то ему шли.

Его мать видела в слезах не только оборонительное средство, но и наступательное оружие. Майра редко использовала слезы так цинично... но, цинично или нет, Эдди понимал, что сейчас она пытается использовать их с этой целью — и тактика эта приносила успех.

Он не мог позволить ей победить. Это же так легко — подумать, как одиноко ему будет сидеть в вагоне поезда, мчащегося сквозь темноту на север, в Бостон, с чемоданом на полке над головой и хозяйственной сумкой с лекарствами между ног, со страхом, давящим на грудь, словно банка с прогорклой растиркой «Викс». Так легко позволить Майре увести его наверх и ублажить парой таблеток аспирина. А потом уложить в постель, где ублажить еще раз, уже по-настоящему... или не ублажить.

Но он обещал. Обещал.

— Майра, послушай меня, — заговорил он нарочито сухо, деловым тоном.

Она смотрела на него влажными, беззащитными, испуганными глазами.

Он думал, что попытается все объяснить, насколько ему удастся; попытается рассказать ей о том, как Майк Хэнлон позвонил и сказал, что все началось снова, и да, он думает, что остальные уже едут.

Но с его губ сорвались другие слова, куда более безопасные.

— Утром первым делом поезжай в офис. Поговори с Филом. Скажи ему, что мне пришлось уехать, и Пачино повезешь ты...

— Эдди, я же не смогу! — заголосила она. — Он — такая большая звезда! Если я заблужусь, он накричит на меня, я знаю, что накричит, он будет кричать, они все кричат, когда водитель не знает дороги... и... я расплачусь... это может привести к аварии... Эдди... Эдди, ты должен остаться дома...

— Ради бога! Прекрати!

Она отшатнулась от его голоса; Эдди, хоть и держал ингалятор в руке, не пустил его в ход. Она восприняла бы это как слабость, которую попыталась бы использовать против него. **«Милый Боже, если Ты есть, пожалуйста, поверь мне, когда я говорю, что не хочу обижать Майру. Не хочу ранить ее, хочу обойтись даже без синяков. Но я обещал, мы все обещали, мы поклялись на крови, пожалуйста. Господи, помоги мне, потому что я должен это сделать...»**

— Я терпеть не могу, когда ты кричишь на меня, Эдди, — прошептала она.

— Майра, а я терпеть не могу, когда мне приходится на тебя кричать, — ответил он, и Майра дернулась. **«Видишь, Эдди, ты вновь причиняешь ей боль. Почему бы тебе сразу не погонять ее по комнате тумаками? С твоей стороны так будет даже милосерднее. И быстрее».**

Внезапно (вероятно, этот образ вызвала из памяти сама мысль о том, чтобы погонять кого-то по комнате тумаками) перед его мысленным взором возникло лицо Генри Бауэрса. Он подумал о Генри Бауэрсе впервые за много лет, и мысли эти не принесли ему успокоения. Скорее наоборот.

Он на несколько мгновений закрыл глаза, открыл и вновь обратился к Майре:

— Ты не заблудишься, и он не будет кричать на тебя. Мистер Пачино — очень милый человек, такой понимающий. — Он никогда в жизни не возил Пачино по городу, но исходил из того, что теория вероятности по крайней мере на стороне его лжи: в отличие от популярного мифа, согласно которому большинство звезд говнюки — Эдди на собственном опыте убедился, что это не так.

Встречались, конечно, исключения из этого правила, и в большинстве случаев эти исключения были настоящими чудовищами. Он очень надеялся, что Майре повезет и Пачино таковым не окажется.

— Правда? — смиренно спросила Майра.

— Да. Правда.

— Откуда ты знаешь?

— Деметриос возил его два или три раза, когда работал в «Манхэттен лимузин», — без запинки солгал Эдди. — Он говорил, что мистер Пачино всегда давал на чай, не меньше пятидесяти долларов.

— Я не против, если он даст мне и пятьдесят центов, лишь бы не кричал на меня.

— Майра, это так же просто, как раз-два-три. Первое, ты забираешь его у отеля «Сент-Реджис» в семь вечера и везешь в «Эй-би-си-билдинг». Они перезаписывают последнее действие пьесы, в которой играет Пачино. Если не ошибаюсь, называется она «Американский бизон». Второе, около одиннадцати ты отвозишь его обратно в «Сент-Реджис». Третье, возвращаешься в гараж, сдаешь автомобиль, расписываешься за выполнение работы.

— Это все?

— Это все. Ты с этим справишься, даже стоя на голове, Марти.

Она обычно смеялась, когда он называл ее этим ласковым именем, но теперь только смотрела с детской серьезностью:

— А если он захочет поехать куда-то на обед, вместо того чтобы возвращаться в отель? Или выпить? Или потанцевать?

— Я не думаю, что захочет, но, если выразит такое желание, ты его отвезешь. Если у тебя создается впечатление, что гулять он собирается всю ночь, ты позвонишь Филу Томасу по радиотелефону сразу после полуночи. К тому времени у него будет свободный шофер, который сменит тебя. Я бы никогда не обратился к тебе, если б у меня был другой шофер, но двое болеют, Деметриос в отпуске, а все остальные в этот вечер заняты. К часу ночи ты точно будешь нежиться в своей постельке, Марти... к часу ночи — самое, самое позднее. Я ап-солютно это гарантирую.

Не рассмеялась она и на ап-солютно.

Он откашлялся и наклонился вперед, уперев локти в колени. Тут же призрак матери зашептал: «Не сиди так, Эдди. Это неудобная поза, у тебя сдавливаются легкие. У тебя такие слабые легкие».

Он вновь выпрямился, не вставая со стула, подавшись назад, едва заметив, что делает.

— Пусть это будет единственный раз, когда мне придется сесть за руль. — Она не говорила, а стонала. — За последние два года я стала такой коровой, и униформа теперь ужасно на мне сидит.

— Это будет единственный раз, клянусь.

— Кто позвонил тебе, Эдди?

И, будто ожидая этих слов, по стене заскользили огни, послышался одиночный автомобильный гудок: такси свернуло на подъездную дорожку. Волна облегчения прокатилась по телу Эдди. Они провели пятнадцать минут, говоря о Пачино, а не о Дерри, Майке Хэнлоне, Генри Бауэрсе, и что могло быть лучше? Лучше для Майры, лучше, само собой, и для него. Он не хотел думать или говорить об этом без крайней необходимости.

Эдди встал.

— Мое такси.

Майра поднялась так быстро, что наступила на подол ночной рубашки и повалилась вперед. Эдди ее поймал, но на мгновение возникли большие сомнения в том, что сможет удержать: она перевешивала его на добрую сотню фунтов.

А Майра продолжала гнуть свое:

— Эдди, ты должен мне рассказать.

— Не могу. Да и времени нет.

— Ты никогда ничего не скрывал от меня, Эдди. — Она заплакала.

— Я и сейчас не скрываю. Ничего не скрываю. Не помню, и все. Во всяком случае, пока не помню. Человек, который мне позвонил, был... и есть... давний друг. Он...

— Ты заболеешь, — в отчаянии запричитала она, следуя за ним, когда он

вновь направился к прихожей. — Я знаю, что заболеешь. Позволь мне поехать с тобой, Эдди, пожалуйста, я позабочусь о тебе, Пачино может взять такси или доберется туда как-то иначе, от него не убудет, ты согласен со мной, правда? — Голос ее набирал силу, страха в нем прибавлялось, и, к ужасу Эдди, она все больше и больше напоминала ему мать, какой та выглядела в последние месяцы перед смертью: старой, толстой и безумной. — Я буду растирать тебе спину и следить, чтобы ты вовремя принимал таблетки... я... я буду помогать тебе... я не буду говорить с тобой, если ты не захочешь, но ты сможешь мне все рассказывать... Эдди... Эдди, пожалуйста, не уходи! Эдди, пожалуйста! Пожа-а-а-а-луйста!

Он уже пересекал прихожую, направляясь к парадной двери, вслепую, низко наклонив голову, как человек, идущий против сильного ветра. Каждый вдох вновь давался с трудом. Когда он поднял чемодан и хозяйственную сумку, весили они фунтов по сто. Он чувствовал на спине ее пухлые, розовые руки, ощупывающие, поглаживающие, тянущие назад с беспомощным желанием, а не с реальной силой. Она старалась совратить его сладкими слезами тревоги, старалась вернуть.

«Я не смогу!» — в отчаянии подумал он. Астма разыгралась круто, с самого детства не было у него такого приступа. Он потянулся к дверной ручке, но она ускользала от него, ускользала в черноту дальнего космоса.

— Если ты останешься, я испеку тебе кофейный торт со сметаной, — лепетала Майра. — Мы поджарим попкорн... Я приготовлю твой любимый обед с индейкой... Если хочешь, приготовлю утром, на завтрак... Я начну прямо сейчас... потушу гусиные потроха... Эдди, пожалуйста, я боюсь, ты так пугаешь меня!

Она схватила его за воротник и потянула назад, как здоровяк-коп хватает подозрительного типа, который пытается удрать. В последнем, тающем усилии Эдди продолжал рваться к двери... и когда силы окончательно иссякли, как и воля к сопротивлению, он почувствовал, что ее пальцы разжались.

Еще один жалостливый вопль вырвался из груди Майры.

Но Эдди уже ухватился за ручку — благословенно прохладную ручку! Открыл дверь и увидел ждущее у дома такси, посланца из мира

здравомыслия. Вечер выдался ясным. В небе сияли яркие звезды.

Он повернулся к Майре, в груди клокотало и свистело.

— Тебе надо понять, это совсем не то, что мне хотелось бы делать. Если б у меня был шанс... хоть малейший шанс... я бы не поехал. Пожалуйста, пойми это, Марти. Я уезжаю, но я вернусь.

Ох, это прозвучало, как ложь.

— Когда? Как долго тебя не будет?

— Неделью. Может, дней десять. Конечно же, не дольше.

— Неделью! — прокричала она, схватившись за грудь, как примадонна в плохой опере. — Неделью! Десять дней! Пожалуйста, Эдди! Пожа-а-а-а...

— Марти, прекрати. Договорились? Просто прекрати.

И каким-то чудом она прекратила: закрыла рот и просто стояла, глядя на Эдди влажными, обиженными глазами, не сердясь, только в ужасе за него и за себя. И, возможно, впервые за годы их знакомства, он почувствовал, что может любить ее без опаски. Потому что она отпускала его? Пожалуй, что да. Нет... «пожалуй» он мог и опустить. Он знал, что да. Уже чувствовал, будто смотрит в телескоп не с того конца.

Так что, возможно, все было хорошо. И что он под этим понимал? Вывод, что может любить ее? Что может любить ее, пусть она и выглядит, как его мать в более молодые годы, пусть даже она ела печенье в кровати, когда смотрела «Хардкастл», Маккормика или «Фалькон крест», и крошки всегда попадали на его сторону, пусть даже она не умна, и пусть даже забывала про его лекарства в шкафчике-аптечке, потому что свои хранила в холодильнике?

А может быть...

Могло быть так, что...

Все эти другие идеи он рассматривал так или иначе, с одной стороны или с другой, по ходу своих туго сплетенных жизней сына, любовника, мужа;

теперь же, когда он покидал дом, как ему казалось, действительно в последний раз, новая мысль сверкнула в голове, и озарение пришлось по нему, как крыло какой-то большой птицы.

А если Майра боялась даже больше, чем он?

А если его мать тоже?

Еще одно воспоминание о Дерри выстрелило из подсознания злобно шипящим фейерверком. На центральной улице находился обувной магазин. «Корабль обуви», так он назывался. Мать как-то раз привела его туда (он полагал, что ему было не больше пяти или шести лет) и велела сидеть тихо и быть хорошим мальчиком, пока она выберет пару белых туфель на свадьбу. Он сидел тихо и вел себя как положено хорошему мальчику, пока мать говорила с мистером Гарденером, одним из продавцов, но ему было только пять (или шесть) лет, а потому, когда матери не подошла уже третья пара принесенных мистером Гарденером белых туфель, заскучавший Эдди встал и направился в дальний конец магазина, чтобы получше рассмотреть некое сооружение, которое заинтересовало его. Поначалу он подумал, что это большой ящик, поставленный на попу. Подойдя ближе, решил, что это стол. Но, разумеется, более странного стола видеть ему еще не доводилось. Он был таким узким! Изготовили его из блестящего полированного дерева, украсили инкрустацией и резьбой. Опять же, к нему вел короткий лестничный пролет из трех ступенек — Эдди никогда не видел столов со ступенями. Вплотную приблизившись к этому необычному столу, он увидел, что у его основания — дырка, на боковой стороне — кнопка, а наверху (его это просто заворожило) — нечто такое, что выглядело точь-в-точь, как космоскоп капитана Видео.

Эдди обошел стол и обнаружил надпись. Должно быть, ему уже исполнилось шесть лет, потому что он смог ее прочесть, шепча каждое слово:

«ВАША ОБУВЬ ВАМ ПОДХОДИТ? ПРОВЕРЬТЕ И УВИДИТЕ!»

Он вновь обошел стол, поднялся по трем ступенькам, сунул ступню в дырку у основания проверочного устройства. «Ваша обувь вам подходит?» Эдди этого не знал, но ему не терпелось проверить и увидеть. Он сунул лицо в резиновую маску и нажал на кнопку. Зеленый свет залил глаза. Он

увидел свою ступню, плавающую внутри ботинка, заполненного зеленым дымом. Он шевелил пальцами ноги, и пальцы, на которые он смотрел, зашевелились — его пальцы, все точно, как он и подозревал. Тут он осознал, что может видеть не только сами пальцы; он может видеть и кости! Кости своей ступни! Он скрестил большой и второй пальцы, словно снимая последствия того, что солгал, и кости образовали букву «Х», только не белую, а гоблински-зеленую. Он мог видеть...

Тут пронзительно закричала его мать, этот панический крик разорвал тишину обувного магазина, как скрежет отлетевшего лезвия косилки, как пожарный колокол, как трубный глас. Эдди в страхе вскинул голову, оторвавшись от объектива, и увидел, как она бежит к нему через весь магазин, в одних чулках, с развевающимся позади платьем. Она сшибла стул, и одно из этих приспособлений для измерения размера ноги, которые всегда так щекотались, отлетело в сторону.

Ее грудь вздымалась. Рот превратился в алую букву «О», символизирующую ужас. Головы продавцов и других покупателей поворачивались в ее сторону.

— Эдди, слезь оттуда! — кричала она. — Слезь оттуда. От этих машин у тебя будет рак. Слезь оттуда! Эдди! Эдди-и-и-и-и...

Он попятился, будто машина внезапно раскалилась докрасна. В панике забыл про ступеньки. Каблуки соскользнули с верхней, и он начал медленно заваливаться назад, отчаянно замахал руками в уже проигранной битве за сохранение равновесия. И разве не подумал он тогда с безумной радостью: «Я падаю! Я упаду и узнаю на собственном опыте, каково это, упасть и удариться головой! Как же здорово!» Разве он так не подумал? Или мужчина, которым он стал, вкладывает взрослые, служащие его целям мысли в голову ребенка, в которой всегда кишмя кишат сбивчивые догадки и смутные образы (образы, которые теряют смысл, обретя четкость)? Подумал... или попытался подумать?

В любом случае вопрос этот так и остался спорным. Он не упал. Мать подросла вовремя. Мать поймала его. Он разрыдался, но не упал.

Теперь все смотрели на них. Он это помнил. Он помнил, как мистер Гарденер подобрал с пола приспособление для измерения размера ноги и

проверил маленькие скользящие штучки, чтобы убедиться, что приспособление работает, а второй продавец поднял стул и один раз всплеснул руками, выразив пренебрежительное удивление, прежде чем его лицо вновь превратилось в любезно-бесстрастную маску. Лучше всего Эдди запомнил мокрую мамину щеку и ее кислое дыхание. Он помнил, как она вновь и вновь шептала ему в ухо: «Никогда больше этого не делай, никогда больше этого не делай, никогда больше!» Его мать словно произносила заклинание, отгоняющее беду. То же заклинание она произносила годом раньше, когда обнаружила, что няня отвела Эдди в общественный бассейн в Дерри-парк в особенно жаркий летний день. Случилось это, когда страх перед полиомиелитом начала 1950-х только-только начал сходить на нет. Она вытащила мальчика из бассейна, говоря, что он не должен этого делать, никогда, никогда, и все дети смотрели на них так же, как сейчас — продавцы и покупатели, а ее дыхание и тогда пахло чем-то кислым.

Она увела его из «Корабля обуви», крича продавцам, что она всех их засудит, если с ее мальчиком что-то случится. Все утро перепуганный Эдди то начинал, то прекращал плакать, и астма донимала его весь день. А ночью он долгие часы лежал без сна, гадая, что такое рак, хуже ли он полиомиелита, может ли он убить, как много времени ему на это потребуется, как тебе будет больно, прежде чем ты умрешь. Задавался он и вопросом, отправится ли он потом в ад.

Угроза была серьезной, это он точно знал.

Мама очень уж перепугалась. Вот откуда он знал.

Ее охватил такой дикий ужас.

— Марти, — позвал он через эту временную пропасть, — ты меня поцелуешь?

Она поцеловала его и прижала к себе так крепко, что у него застонали кости спины. «Будь мы в воде, — подумал он, — она бы утопила нас обоих».

— Не бойся, — прошептал он ей на ухо.

— Ничего не могу с собой поделать! — заголосила она.

— Я знаю, — ответил он, почувствовав, что астма отступает, хотя Марти крепко прижимала его к себе. Свистящая нотка из дыхания ушла. — Я знаю, Марти.

Водитель вновь нажал на клаксон.

— Ты позвонишь? — спросила она дрожащим голосом.

— Если смогу.

— Эдди, пожалуйста, разве ты не можешь сказать мне, в чем дело?

А если бы он мог? Ей бы стало спокойнее?

Ладно, вечером мне позвонил Майк Хэнлон, и мы какое-то время поговорили, но весь наш разговор сводился к двум пунктам. «Все началось снова», — сообщил Майк. «Ты приедешь?» — спросил Майк. И теперь у меня поднялась температура, Марти, только эту температуру не сбить аспирином, и мне трудно дышать, только этот чертов ингалятор мне не поможет, потому что эти затруднения с дыханием связаны не с легкими или горлом — причина в области сердца. Я вернусь к тебе, если смогу, Марти, но ощущаю себя человеком, который стоит у входа в старую штольню, потолок которой в любой момент может обрушиться во многих местах, стоит у входа и прощается с белым светом.

Да... конечно же, да! После моего рассказа она сразу же успокоится!

— Нет, — ответил он. — Пожалуй. Я не могу сказать тебе, в чем дело.

И, прежде чем она произнесла хоть слово, прежде чем снова начала кричать («Эдди, вылезай из этого такси! От него у тебя будет рак!»), он большими шагами двинулся прочь, все быстрее и быстрее. Последние ярды, отделяющие его от такси, чуть ли не пробежал.

Она все еще стояла в дверном проеме, когда такси задним ходом выкатилось на улицу, стояла, когда они поехали к городу, большая, черная женщина-тень, вырезанная из света, который лился из их дома. Он помахал рукой и подумал, что в ответ она тоже вскинула руку.

— Куда сегодня едем, дружище? — спросил таксист.

— Пенн-стейшн, — ответил Эдди, и рука отпустила ингалятор. Астма отправилась в то место, где привыкла проводить время между атаками на его бронхи. Он чувствовал себя... почти здоровым.

Но ингалятор очень даже потребовался ему четырьмя часами позже, когда он резко дернулся, выходя из легкой дремы, отчего мужчина в деловом костюме, сидевший напротив, опустил газету и посмотрел на него с любопытством, к которому примешивалась тревога.

«Я вернулась, Эдди! — ликующе вопила астма. — Я вернулась и наконец-то на этот раз могу тебя убить! Почему нет? Должна же я это когда-нибудь сделать, знаешь ли! Не могу я возиться с тобой целую вечность!»

Грудь Эдди вздымалась и опускалась. Он поискал ингалятор, нашел, направил в горло, нажал на клапан. Потом откинулся на высокую спинку амтраковского сиденья, дрожа всем телом, ожидая облегчения, думая о сне, из которого он только что вернулся в реальность. О сне? Господи Иисусе, если бы. Эдди боялся, что сон этот очень уж тянул на воспоминания. Он помнил зеленый свет, как в рентгеновской установке обувного магазина, и покрытого язвами прокаженного, который гнался по подземным тоннелям за кричащим мальчиком, Эдди Каспбрэком. Он бежал и бежал

(он бежит очень даже быстро так сказал тренер Блэк его матери и он бежал очень даже быстро от гнавшейся за ним твари да вам лучше в это поверить вы можете поспорить на свою шкуру)

в этом сне, одиннадцатилетним мальчишкой, и кто-то зажег спичку, и он посмотрел вниз, и увидел разлагающееся лицо мальчика (его звали Патрик Хокстеттер, и он пропал в июле 1958 года), и черви выползали из щек Патрика Хокстеттера, и вползали в них, и изнутри Патрика Хокстеттера шел ужасный вонючий запах, и в этом сне, где воспоминаний было больше, чем сна, он посмотрел в сторону и увидел два школьных учебника, которые набухли от влаги и покрылись зеленой плесенью: «Дороги ко всему» и «Открываем нашу Америку». Они находились в таком состоянии, потому что их окружала гнилая сырость («Как я провел это лето» — сочинение Патрика Хокстеттера: «Я провел его мертвым в тоннеле! Плесень выросла на моих учебниках, и они раздулись до размеров каталогов „Сирса“»). Эдди открыл рот, чтобы закричать, и именно тогда шершавые пальцы прокаженного прошли по его щеке и полезли в рот. Тут он и проснулся,

как от толчка, но не в канализационном коллекторе под Дерри, штат Мэн, а в сидячем вагоне, одном из передних вагонов, поезда компании «Амтрак», который мчался через Род-Айленд под большой белой луной.

Мужчина, сидевший напротив, помялся, решил, что лучше все-таки спросить, и спросил:

— Вы в порядке, сэр?

— Да-да, — кивнул Эдди. — Я заснул, и мне приснился кошмар. Он-то и спровоцировал приступ астмы.

— Понимаю. — Газета вновь поднялась. Эдди увидел, что его сосед читает газету, которую мать иногда называла «Жид-Йорк таймс».[\[54\]](#)

Эдди выглянул в окно, посмотрел на спящий пейзаж, освещенный лишь сказочной луной. Тут и там дома, иногда несколько вместе, в основном темные, только в некоторых светились окна. Но свет их казался таким блеклым, таким неестественным в сравнении с призрачным светом луны.

Он думал, что луна говорила с ним, вспомнил Эдди. Генри Бауэрс. Господи, каким же тот был психом. Задался вопросом: где сейчас Генри Бауэрс? Умер? В тюрьме? Мотается по пустынным равнинам центральной части страны, как вирус, который ничто не берет, глубокой ночью, от часа до четырех, грабит маленькие магазинчики, работающие круглосуточно, или, возможно, убивает людей, которым хватило глупости остановиться, реагируя на его поднятую руку с оттопыренным большим пальцем, чтобы доллары из их бумажников перекочевали в его?

Возможно, возможно.

В какой-нибудь психиатрической лечебнице штата? Смотрит на растущую, как в эти дни, с каждой ночью луну? Говорит с ней, слушает ответы, доступные только его слуху?

Эдди решил, что это еще более вероятный вариант. Он содрогнулся. **«Я все-таки вспоминаю свое отрочество, — подумал он. — Я вспоминаю мои летние каникулы в том далеком, гиблом 1958 году».** Он чувствовал, что мог бы вспомнить чуть ли не любой эпизод того лета, если б захотел, но он не хотел. **«О господи, если я бы мог все снова забыть!»**

Он прислонился лбом к грязному стеклу окна, держа в руке ингалятор, словно святыню, наблюдая, как поезд разрывает ночь.

«Я еду на север, — думал он, — но это неправильно.

Я не еду на север. Потому что это не поезд; это машина времени. Не на север. Назад. Назад в прошлое».

И еще он подумал, что слышит бормотание луны.

Эдди Каспбрэк крепче сжал ингалятор и закрыл глаза, чтобы подавить внезапное головокружение.

Бeverли Роган огребаёт порку

Том уже засыпал, когда зазвонил телефон. Приподнялся, наклонился к телефонному аппарату и тут же почувствовал, как груди Беверли прижались к его плечу: она перегнулась через него, чтобы дотянуться до трубки. Он упал на подушку, гадая в полусне, кто мог звонить в такой поздний час по их домашнему номеру, которого нет в телефонном справочнике. Услышал «алло» Беверли, после чего провалился в сон. Он уговорил почти три упаковки пива во время бейсбольного матча, поэтому соображал плохо.

Но потом вопрос Беверли, резкий и любопытный — «Что-о-о?» — вонзился ему в ухо, как нож для колки льда, и он снова открыл глаза. Попытался сесть, и телефонный шнур впился в его толстую шею.

— Убери к черту эту хрень, Беверли, — прорычал он.

Она быстро встала, обошла кровать, держа шнур на растопыренных пальцах. Волосы, темно-рыжие, естественными волнами ниспадали на ночную рубашку, чуть не доставая до талии. Волосы шлюхи. Ее взгляд избегал его лица, не желая узнать, какая там эмоциональная погода, и Тому Рогану это не нравилось. Он сел. Начала болеть голова. Черт, она наверняка болела уже давно, но когда засыпаешь, этого не чувствуешь.

Он прошел в ванную, отливал, как ему показалось, три часа, потом решил выпить еще банку пива, все равно уж встал, чтобы попытаться заглушить на корню набирающее силу похмелье.

Пересекая спальню по пути к лестнице (в белых семейных трусах, которые, как паруса, трепыхались под внушительным животом, со здоровенными ручищами, выглядел он скорее как портовый грузчик, а не президент и генеральный менеджер компании «Беверли фэшнс, инк.»), он обернулся и сердито крикнул: «Если звонит Лесли, эта чертова лесбиянка, скажи ей, пусть найдет себе какую-нибудь шлюху и даст нам поспать!»

Беве́рли коротко глянула на него, покачала головой, давая понять, что это не Лесли, и повернулась к телефонному аппарату. Том почувствовал, как напряглись мышцы шеи. Выглядело так, что она давала ему отлуп. Миледи давала ему отлуп. Ми-гребаная-леди давала ему отлуп. Похоже, ему следовало принимать меры. Похоже, Беве́рли нуждалась в очередном напоминании о том, кто в доме хозяин. Похоже. Иногда ей приходилось повторять пройденное. Она плохо усваивала материал.

Он спустился вниз, прошлепал по коридору на кухню, рассеянно вытащил трусы из расщелины между ягодицами, открыл холодильник. Пальцы нащупали только синий пластиковый контейнер с остатками вчерашнего супа. Пиво исчезло. Даже банка, которую он держал у задней стенки на самый крайний случай (как и сложенную двадцатку, лежавшую в бумажнике под водительским удостоверением). Игра продолжалась четырнадцать иннингов, [\[55\]](#) и все впустую. «Уайт сокс» [\[56\]](#) проиграли. В этом году в команду набрали каких-то сосунков.

Его взгляд прошелся по бутылкам крепкого, которые стояли в застекленной полке над кухонным баром, и на мгновение он представил себе, как наливает чуть-чуть «Бима» [\[57\]](#) на единственный кубик льда, но понимал, что напрашивается на еще большие неприятности для своей головы, которая и так болела, а потому двинулся в обратный путь. Взглянул на старинные напольные часы, что стояли у лестницы. Полночь уже миновала. Эта информация не улучшила его настроение, которое редко бывало особо хорошим.

По лестнице он поднимался медленно, отдавая себе отчет (очень хорошо отдавая себе отчет), с каким напрягом работает сердце. Ка-бух, ка-бах. Ка-бух, ка-бах. Ка-бух, ка-бах. Он нервничал, когда чувствовал удары сердца не только в груди, но и в ушах, и в запястьях. Иногда, когда такое случалось, он представлял сердце не как сжимающийся и разжимающийся орган, а как большой манометр в левой половине груди, и стрелка на этом манометре зловеще уходила в красную зону. Ему это совершенно не нравилось, ему это совершенно не требовалось. А что ему требовалось — так это ночь крепкого сна.

Но эта тупая шлюха, на которой он женился, все еще висела на телефоне.

— Я понимаю, Майк... да... да, конечно... я знаю... но...

Пауза затянулась.

— Билл Денбро? — воскликнула она, и тот самый нож для колки льда вновь проткнул ухо.

Он постоял у двери в спальню, пока дыхание не выровнялось. Сердце вновь застучало в одном ритме: ка-бах, ка-бах, ка-бах: буханье прекратилось. На какие-то мгновения он представил себе стрелку, уходящую из красной зоны, потом отогнал картинку. Он — мужик, черт побери, и крепкий мужик, а не котел с барахлящим термостатом. Он в отличной форме. Он из железа. И если ей требуется повтор урока, он с радостью поучит ее.

Он уже собрался войти в спальню, но передумал, и задержался на прежнем месте чуть дольше, слушая ее, не обращая особого внимания, о ком она говорит или что сказала, только слушая, как она возвышает и понижает голос. И ощущал знакомую тупую ярость.

Он познакомился с ней четыре года назад, в баре для одиночек в центре Чикаго. Разговор завязался легко, потому что оба работали в Стандарт-Брэндс-Билдинг и у них нашлись общие знакомые. Том — на сорок втором этаже, в отделе по связям с общественностью компании «Кинг-энд-Лэндри». Беверли Марш (тогда еще с девичьей фамилией) — на двенадцатом, помощницей дизайнера в «Делия фэшнс». Делия, которая потом добилась скромного, но признания на Среднем Западе, специализировалась на молодежи: ее юбки, блузки, шали и слаксы продавались по большей части в «магазинах юности», как называла их Делия Каслман. Том называл их иначе — «магазины укурков». В Беверли Марш Том Роган сразу отметил следующее: она желанна, и она ранима. Менее чем через месяц выяснилось еще кое-что: она талантлива. Очень талантлива. В ее эскизах повседневных платьев и блузок он увидел машину для печатанья денег с сумасшедшим потенциалом.

Конечно, печатать их следовало не в магазинах укурков, подумал он, но не сказал (во всяком случае, тогда). Никакого тусклого освещения, никаких низких цен, никаких говенных стендов между одеждой для наркоманок и фанаток рок-групп. Все это следовало оставить мелкоте.

Он узнал о ней очень много, прежде чем она поняла, что он серьезно ею

заинтересовался, как, собственно, и хотел Том. Он всю жизнь искал такую, как Беверли Марш, и налетел на нее со скоростью льва, преследующего медлительную антилопу. Нет, ее ранимость сразу не просматривалась: ты смотрел и видел роскошную женщину, стройную, но в положенных местах не обделенную природой. Бедрa, возможно, чуть подкачали, зато зад был по высшему разряду, а такой великолепной груди ему встречать не доводилось. Том Роган питал слабость к женской груди, а высокие девушки в этом практически всегда его разочаровывали. Они носили тонкие блузки, и их соски сводили тебя с ума, но, сняв с них эти блузки, ты обнаруживал, что кроме сосков похвастаться им практически нечем. Сами груди выглядели, как круглые ручки ящиков бюро. «Если женская грудь не вмещается в ладонь — это уже вымя», — обожал говорить его сосед по общежитию в колледже, но Том полагал, что в соседе столько дерьма, что оно выплескивалось на поворотах. И так, выглядела она отлично, все так, тело потрясающее да еще эти роскошные вьющиеся рыжие волосы. Но чувствовалась в ней слабина... какая-то слабина. Она словно посылала радиосигналы, уловить которые мог только он. Конечно, свидетельствовали о том же и кое-какие внешние признаки: она много курила (от этого он ее практически отучил), ее глаза пребывали в непрерывном движении, никогда не встречались с глазами собеседника, только касались их и тут же ускользали в сторону, она легонько потирала локти, когда нервничала, ногти поддерживала в должном порядке, но стригла очень коротко. Это Том заметил при их первой встрече. Она подняла стакан белого вина, он посмотрел на ее ногти и подумал: «Она так коротко стрижет ногти, потому что иначе грызла бы их».

Львы, возможно, не думают — во всяком случае, не думают, как люди, — но они видят. И когда антилопы уходят от водопоя, испуганные запахом приближающейся смерти, кошки наблюдают, какая из них отстает от стада, потому что хромота, потому что медлительная... или потому что у нее недостаточно обострено чувство опасности. И вполне возможно, что некоторые антилопы (и некоторые женщины) хотят, чтобы их завалили.

Внезапно он услышал звук, мгновенно вырвавший его из этих воспоминаний, — чиркнула ее зажигалка.

Тупая ярость вернулась. Живот наполнил жар... не такое уж неприятное ощущение. Закурила. Она закурила. По этому вопросу они провели несколько Специальных семинаров Рогана. И на тебе, она снова закурила.

Она медленно усваивала материал, само собой, но хороший учитель лучше всего проявляет свой талант именно с такими учениками. Или ученицами.

— Да, — говорила она теперь. — Понятно. Хорошо. Да... — Она послушала, потом с ее губ сорвался странный нервный смех, какого раньше он никогда не слышал. — Раз уж ты спросил, закажи мне номер и помолись за меня. Да, хорошо... понятно... я тоже. Спокойной ночи.

Когда он вошел в спальню, она опускала трубку на рычаг. Он собирался сразу наехать на нее, криком потребовать, чтобы она прекратила курить, прекратила курить, НЕМЕДЛЕННО, но когда увидел ее, слова застряли в горле. Ему уже доводилось видеть Беверли такой, два или три раза. Однажды — перед первым большим показом ее моделей, потом — перед частным показом для национальных оптовиков, и наконец — в Нью-Йорке, куда они приехали на вручение международных дизайнерских премий.

Она пересекала спальню большими шагами, белая кружевная ночная рубашка облегала тело, сигарету она сжимала передними зубами (господи, какую же ненависть вызывал у него один только ее вид с сигаретой во рту). Дымок вился над левым плечом, напоминая дым, выходящий из паровозной трубы.

Но подождать с криком заставило Тома ее лицо, из-за ее лица крик этот умер у него в горле. Сердце ухнуло — ка-БУХ! — и он поморщился, говоря себе, что ощутил не страх, а только изумление, увидев ее такой.

Эта женщина действительно оживала, лишь когда ее работа приближалась к кульминации. Все упомянутые выше случаи имели непосредственное отношение к ее карьере. В таких ситуациях он видел женщину, совершенно не похожую на ту, которую хорошо знал, — женщину, которая заглушала его чувствительный, настроенный на страх радар мощными помехами. Женщина, какой становилась Беверли в стрессовых ситуациях, была сильной, но очень взвинченной, бесстрашной, но и непредсказуемой.

Щеки ее покраснелись, румянец залил и высокие скулы. Широко раскрытые глаза сверкали, в них не осталось и следов сна. Волосы просто летали. И... ах, посмотрите сюда, друзья и соседи! Нет, вы только посмотрите сюда! Неужто она достает из чулана чемодан? Чемодан? Клянусь Богом, достает!

«Закажи мне номер... помолись за меня».

Что ж, номер ни в каком отеле ей не понадобится, во всяком случае, в обозримом будущем, потому что маленькая Беверли Роган собирается остаться здесь, дома, большое ей за это спасибо, и следующие три или четыре дня есть она будет стоя.

Но молитва, может, даже две, ей пригодятся, прежде чем он закончит разбираться с ней.

Она поставила чемодан в изножье кровати, пошла к комоду. Выдвинула верхний ящик, достала две пары джинсов, вельветовые брюки. Бросила в чемодан. Вернулась к комоду, сигаретный дымок по-прежнему вился над плечом. Схватила свитер, пару футболок, одну из своих матросских блузок, в которых выглядела так глупо, но отказывалась их выкинуть. Человек, который ей позвонил, определенно не относился к тем, кто добирался до модных курортов на собственном реактивном самолете. Одежду она отбирала неброскую. А-ля Джеки Кеннеди, отправляющаяся на уик-энд в Хайниспорт.

Но его не волновало, ни кто ей звонил, ни куда, по ее мнению, она собиралась ехать, потому что ей предстояло остаться дома. Совсем другая мысль стучала в его голове, которая разболелась из-за того, что он выпил слишком много пива и не выспался.

Ему не давала покоя сигарета.

Вроде бы, по ее же словам, она все их выкинула. Но она обманула его — и доказательство тому торчало сейчас у нее изо рта. А поскольку она по-прежнему не замечала его, стоящего в дверном проеме, он не отказал себе в удовольствии вспомнить два вечера, которые убедили его, что теперь она всецело в его руках.

«Я не хочу, чтобы ты курила, когда находишься рядом со мной, — сказал он ей, когда они возвращались с вечеринки в Лейк-Форест. В октябре. — Я должен дышать этим дерьмом на вечеринках и в офисе, но не хочу, когда мы вдвоем. Знаешь, на что это похоже? Я скажу тебе правду — это неприятно, но правда. Все равно, что ты ешь чьи-то сопли».

Он подумал, что она начнет возражать, но Беверли только посмотрела на

него застенчивым, стремящимся ублажить взглядом. Ответила тихо, смиренно, покорно: «Хорошо, Том».

«Тогда загаси сигарету».

Она загасила. И остаток вечера Том пребывал в отличном расположении духа.

Несколько недель спустя, выходя из кинотеатра, она, не подумав, закурила еще в вестибюле и попыхивала сигаретой, пока они шли через автостоянку. Та ноябрьская ночь выдалась холодной, ветер, как маньяк, набрасывался на каждый оголенный квадратный дюйм кожи, который ему удавалось найти. Том помнил, что временами до него долетал запах озера, как бывало в холодные ночи, слабый запах рыбы и в какой-то степени пустоты. Он позволил ей курить. Даже открыл ей дверцу, когда они подошли к его автомобилю. Сел за руль, закрыл свою дверцу, и только потом обратился к ней: «Бев?»

Она вынула сигарету изо рта, повернулась к нему, в глазах читался вопрос, и тут он ей врезал, вlepил крепкую оплеуху, приложился к ее щеке так сильно, что заныла ладонь, так сильно, что ее голову отбросило на подголовник. Ее глаза широко раскрылись от удивления и боли... но и чего-то еще. Рука поднялась, чтобы исследовать тепло и онемение на щеке. «Ох-х! Том!» — воскликнула она.

Он смотрел на нее, сощурившись, небрежно улыбаясь, весь напряженный, готовый увидеть, что за этим последует, как она отреагирует. В штанах напрягся член, но на это он внимания не обращал. Это оставалось на потом, а пока шел урок. Он прокрутил в голове только что случившее. Ее лицо. Что еще отразилось на нем, помимо удивления и боли? Отразилось на миг и тут же исчезло. Сначала удивление. За ним — боль. А следом

(ностальгия)

воспоминание... она что-то вспомнила. Отразилось только на миг. Он не думал, что она даже знала, что отразилось, отразилось на ее лице или промелькнуло в голове.

А теперь — в настоящее. Все будет в первой фразе, которую она не произнесет. Он знал это так же хорошо, как собственное имя.

Она не произнесла: «Сукин ты сын».

Она не произнесла: «Еще увидимся, Мачо-Сити».

Она не произнесла: «Между нами все кончено, Том».

Только посмотрела на него обиженными, до краев полными слез карими глазами и спросила: «Зачем ты это сделал?» Хотела сказать что-то еще, но разрыдалась.

«Выброси это».

«Что? Что, Том?» Косметика оставляла темные потеки на ее щеках. Он не возражал. Ему даже нравилось видеть ее такой. Грязно, конечно, но было в этом и что-то сексуальное. Блядское. Возбуждающее.

«Сигарета. Выброси ее».

До нее дошло. С осознанием пришло чувство вины.

«Я просто забыла! — крикнула она. — И все!»

«Выброси сигарету, Бев, или получишь еще».

Она опустила стекло, выбросила сигарету. Потом снова повернулась к нему, лицо бледное, испуганное, но при этом спокойное.

«Ты не можешь... ты не должен меня бить. Это плохая основа для... для длительных отношений». Она пыталась найти тон, взрослый ритм, и потерпела неудачу. Он вернул ее в прошлое. Рядом с ним в этом автомобиле сидел ребенок. С пышными формами, чертовски сексуальный, но ребенок.

«Не могу бить и не бью — две большие разницы, девочка, — ответил он. Голос звучал спокойно, но внутри все вибрировало. — И это мне решать, что подходит для длительных отношений, а что нет. Если тебя это устраивает, отлично. Если нет — можешь прогуляться пешком. Останавливать тебя я не стану. Разве что дам пинка на прощание, но останавливать не стану. Это свободная страна. Что еще я могу сказать?»

«Возможно, ты уже сказал более чем достаточно», — прошептала она, и он

ударил ее второй раз, сильнее, потому что ни одной герле не дозволено так говорить с Томом Роганом. Он бы врезал и королеве Англии, если б та позволила себе съязвить на его счет.

Она ударилась щекой о мягкую обивку приборной панели. Рука схватилась за ручку дверцы, а потом соскользнула с нее. Она лишь скрючилась в углу, словно кролик, поднеся одну руку ко рту, глядя на него большими, влажными, перепуганными глазами. Том пару секунд смотрел на нее, а потом вылез из автомобиля. Обошел сзади, открыл ее дверцу. Его дыхание клубилось в холодном, ветреном ноябрьском воздухе, и запах озера заметно усилился.

«Хочешь выйти, Бев? Я видел, как ты потянулась к ручке, и подумал, что ты хочешь выйти. Хорошо. Пожалуйста. Я попросил тебя кое-что сделать, и ты сказала, что сделаешь. А потом нарушила слово. Так ты хочешь выйти? Давай. Выходи. В чем проблема? Выходи. Ты хочешь выйти?»

«Нет», — прошептала она.

«Что? Не слышу тебя».

«Нет, я не хочу выходить», — ответила она чуть громче.

«Что? От этих сигарет у тебя эмфизема? Если ты не можешь говорить громче, я куплю тебе гребаный мегафон. Это твой последний шанс, Беверли. Ты должна ответить так, чтобы я смог тебя услышать: ты хочешь выйти из этого автомобиля или ты хочешь уехать со мной?»

«Хочу уехать с тобой», — ответила она и сцепила руки на юбке, как маленькая девочка. Не посмотрела на него. По щекам катились слезы.

«Хорошо, — кивнул он. — Отлично. Но сначала ты мне кое-что скажешь, Бев. Ты скажешь: „Я забыла, что обещала не курить рядом с тобой, Том“».

Теперь она посмотрела на него ранеными, молящими, бессловесными глазами. «Ты можешь заставить меня это сделать, — говорили ее глаза, — но, пожалуйста, не надо. Не надо, я люблю тебя, неужели нельзя без этого обойтись?»

Нет, он не мог ей этого позволить, потому что речь шла не о ее желании

или нежелании, и они оба это знали.

«Говори».

«Я забыла, что обещала не курить рядом с тобой, Том».

«Хорошо. А теперь скажи „извини“».

«Извини», — механически повторила она.

Сигарета дымилась на асфальте, как короткий фитиль. Люди, выходящие из кинотеатра, поглядывали на них, мужчину, стоявшего у открытой со стороны пассажирского сидения дверцы «веги» последней модели и женщину, сидевшую внутри, чопорно сцепив руки на коленях, опустив голову, лампочка под потолком окрашивала ее волосы золотом.

Он раздавил сигарету. Растер по асфальту.

«А теперь скажи: „Я никогда больше не сделаю этого без твоего разрешения“».

«Я никогда... — голос дрогнул, — ...никогда... б-б-б...»

«Скажи это, Бев».

«...никогда больше не сделаю этого. Без твоего разрешения».

Он захлопнул дверцу, вновь обошел автомобиль. Сел за руль и повез их в свою квартиру в центре города. Ни он, ни она по пути не произнесли ни слова. С половиной их взаимоотношений они определились на автомобильной стоянке. Со второй — сорок минут спустя, в постели Тома.

Она сказала, что не хочет заниматься любовью. Но он прочитал другое и в ее глазах, и в походке, а потому, сорвав с нее блузку, обнаружил, что соски затвердели и торчат. Она застонала, когда он прошелся по ним рукой, вскрикнула, когда он пососал сначала один, а потом второй, покрутил их в пальцах. Она схватила его руку и сунула ее между своих ног.

«Я думал, ты не хочешь», — сказал он, и она отвернулась, но руку его не отпустила, только быстрее задвигала бедрами.

Он толкнул ее, уложив на кровать... и стал нежен, не сдернул с нее трусики, а снял медленно и осторожно, прямо-таки торжественно.

А входя в нее, почувствовал, будто вокруг горячее, нежное масло.

Задвигался вместе с ней, используя ее, но и позволяя ей использовать себя, и первый раз она кончила буквально сразу, вскрикнула и впилась ногтями ему в спину. Потом он перешел на длительные, медленные движения, и в какой-то момент ему показалось, что она кончила вновь. Том тоже вроде бы приближался к оргазму, но подумал о среднем показателе отбивания «Сокс», о том, кто может перехватить у него контракт с Челси, и все наладилось. Потом она начала увеличивать темп, ускоряться и ускоряться. Он посмотрел на ее лицо, на разводы туши, на размазанную помаду и почувствовал, как понесся навстречу блаженству.

Она все сильнее и сильнее вскидывала бедра (в те дни они обходились без буфера — пивного живота), так что их животы все чаще шлепали друг о друга.

На грани оргазма она закричала, а потом укусила его в плечо мелкими, ровными зубами.

«Сколько раз ты кончила?» — спросил он после того, как они приняли душ. Она отвернулась, а когда ответила, он едва расслышал ее: «Об этом не принято спрашивать».

«Правда? И кто тебе это сказал? Мистероджерс?»[\[58\]](#)

Он взялся за ее лицо, большой палец глубоко ушел в одну щеку, остальные сжали вторую, ладонь охватила подбородок.

«Поговори с Томом, — сказал он. — Слышишь меня, Бев? Поговори с папулей».

«Три», — с неохотой ответила она.

«Хорошо, — кивнул он. — Теперь можешь покурить».

Она недоверчиво посмотрела на него, рыжие волосы разметались по подушкам, весь ее наряд состоял из обтягивающих трусиков. От одного

только взгляда на нее его мотор начал заводиться. Он кивнул.

«Давай. Сейчас можно».

Три месяца спустя они поженились. С его стороны на регистрации присутствовали два друга, с ее — одна подруга, Кей Макколл, которую Том назвал «та грудастая сука-феминистка».

Все эти воспоминания пронесли в голове Тома за считанные секунды, как часть фильма, прокрученная в ускоренном режиме, пока он стоял в дверном проеме, наблюдая за ней. Она выдвинула нижний ящик «бюро выходного дня», так она называла свой комод, и кидала в чемодан трусики, не те, что ему очень нравились, из скользящего под пальцами атласа или гладкого шелка, а хлопчатобумажные, как у маленьких девочек, в большинстве своем застиранные, с лопнувшим местами эластиком. За трусиками последовала ночнушка, тоже хлопчатобумажная, такие он не раз видел в сериале «Маленький домик в прериях». Она залезла в самую глубину ящика, чтобы посмотреть, что еще там может прятаться.

Тем временем Том Роган направился к своему гардеробу по ворсистому ковру, покрывавшему пол спальни. Босиком, а потому бесшумно. Сигарета. Вот что разъярило его. Прошло много времени с тех пор, как она забыла тот первый урок. Потом были другие уроки, много уроков, и иной раз в жаркий день ей приходилось надевать блузы с длинным рукавом и свитера под горло. Случалось, что и в пасмурные дни она постоянно ходила в солнцезащитных очках. Но тот первый урок был неожиданным и основополагающим...

Он забыл про телефонный звонок, вырвавший его из еще неглубокого сна. Сигарета. Раз она курила сейчас, значит, забыла про Тома Рогана. Временно, конечно, только временно, но это временно очень уж затянулось. Что заставило ее забыть, значения не имело. Такое в его доме не проходило, какой бы ни была причина.

На дверце шкафа, изнутри, на крюке висела широкая черная кожаная лента. Без пряжки — ее он снял давным-давно. На одном конце, там, где раньше была пряжка, лента образовывала петлю, в которую теперь Том сунул руку.

«Том, ты плохо себя вел! — иногда говорила его мать... ладно, „иногда“ — неудачное слово, „часто“ подходит куда больше. — Иди сюда, Томми. Я

должна тебя выпороть». Через все его детство пунктиром проходили порки. В конце концов он сумел удрать, в «Уичита стейт колледж», но, вероятно, полностью удрать так и не удалось, потому что он по-прежнему слышал ее голос во снах: «Иди сюда, Томми. Я должна тебя выпороть». Выпороть...

Он был старшим из четырех детей. Через три месяца после рождения младшего Ральф Роган умер... что ж, «умер», возможно, не самое удачное слово, лучше сказать «покончил с собой» — щедро плесканул щелока в стакан с джином и проглотил эту адскую смесь, сидя на сральнике в ванной. Миссис Роган нашла работу на заводе компании «Форд». Одиннадцатилетний Том стал опорой семьи. И если он что-то делал не так, скажем, если малыш накладывал в подгузник после ухода няни, и подгузник этот ему не меняли до прихода матери... если он забывал встретить Меган на углу Широкой улицы после того, как закрывался ее детский сад, и это видела лезущая во все дыры миссис Гант... если он смотрел «Американскую эстраду», пока Джой устраивал погром на кухне... если случалось это или что-то другое, список получался очень и очень длинным... тогда, после того как младших укладывали спать, появлялась розга, и слышалось приглашение: «Томми, иди сюда. Я должна тебя выпороть».

Лучше пороть самому, чем быть выпоротым. Если Том что и усвоил на великой дороге жизни, так только эту истину.

Поэтому взмахнул рукой, и свободный конец кожаной ленты взлетел, затягивая петлю на его руке. Потом зажал петлю в кулаке. Ощущения ему нравились. Он чувствовал себя взрослым. Кожаная полоса свисала из его кулака, как дохлая змея. Головная боль исчезла.

Она нашла то, что искала в глубине ящика: старый белый хлопчатобумажный бюстгальтер с жесткими чашечками. Мысль о том, что в столь поздний час ей позвонил любовник, на мгновение вынырнула у него в сознании и снова ушла на глубину. Нелепо. Ни одна женщина не поедет к любовнику, захватив с собой полинявшие матросские блузки и хлопчатобумажные трусики из «Кей-Марта» с местами лопнувшей эластичной лентой. Опять же, она бы не решилась.

— Беверли, — мягко позвал он, и она тут же повернулась, вздрогнула, глаза широко раскрылись, длинные волосы развевались.

Ремень завис... чуть опустился. Он смотрел на нее, вновь чувствуя неуверенность. Да, именно так она выглядела перед крупными показами, и тогда он старался не попадаться у нее на пути, понимая, что ее переполняют страх и агрессивность. Она нацеливалась на борьбу, и голову ее словно заполняло горючим газом: одна искра, и она взорвется. Она не относилась к этим показам как к шансу отделиться от «Делия фэшнс», самостоятельно зарабатывать на жизнь, может, даже сколотить состояние. Если бы этим все заканчивалось, никаких проблем бы не возникало. Но, если бы этим все и заканчивалось, она не была бы столь невероятно талантлива. Показы эти она воспринимала как суперэкзамен, которые принимали у нее очень строгие учителя. Что она видела в этих показах, так это некое существо без лица. Оно не имело лица, зато у него было имя — Авторитет.

Вся эта большеглазая нервозность читалась сейчас на ее лице. И не только. Вокруг нее возникла аура, он буквально видел это, аура предельного напряжения, отчего она стала более желанной, но и более опасной в сравнении с тем, какой была все эти годы. И он боялся, потому что она была здесь, вся целиком, другая, особенная Беверли, отличающаяся от той Беверли, какой он хотел ее видеть, какую вылепил собственными руками.

Беверли выглядела потрясенной и испуганной. А еще она выглядела безумно бодрой. Щеки горели, но под нижними веками появились белые пяточки, совсем как вторая пара глаз. Лоб белел, как и пятна под глазами.

И сигарета по-прежнему торчала изо рта, теперь с чуть приподнятым кончиком, словно она полагала себя Франклином Делано Рузвельтом. Сигарета! Только от одного ее вида ярость вновь накатила на него зеленой волной. Откуда-то издалека, из глубин сознания, донесся тихий голос Беверли, вспомнились слова, которые он услышал от нее однажды ночью, слова, произнесенные в темноте безжизненным, апатичным голосом: «Когда-нибудь ты убьешь меня, Том. Когда-нибудь ты зайдешь слишком далеко, и это будет конец. Ты перегнешь палку».

Тогда он ответил: «Делай по-моему, Бев, и этот день никогда не настанет».

Теперь же, перед тем как ярость ослепила его, он задался вопросом, а не настал ли этот день.

Сигарета. Телефонный звонок, чемодан, странное выражение лица — все побоку. Они будут разбираться с сигаретой. Потом он ее трахнет. А уж потом они обсудят все остальное. К тому времени, возможно, и звонок и чемодан покажутся ему более важными.

— Том, — сказала она. — Том, я должна...

— Ты куришь. — Голос его доносился издалека, как из очень хорошего радиоприемника. — Похоже, ты кое-что забыла, крошка. Где ты их прячешь?

— Смотри, я ее выбрасываю. — Она прошла к двери ванной. Бросила сигарету (даже с такого расстояния он видел следы зубов на фильтре) в унитаз. П-ш-ш-ш. Она вернулась. — Том, мне позвонил давний друг. Давний, давний друг. Я должна...

— Заткнуться, вот что ты должна! — взревел он. — Просто заткнись! — Но страх, который он хотел видеть, — страх перед ним — на ее лице не появился. Страх был, но причиной служил телефонный звонок, а Беверли полагалось бояться совсем другого. Она, похоже, не замечала ремня, не видела и его самого, и Тому стало как-то не по себе. А был ли он здесь? Идиотский вопрос, но был ли?

Таким ужасным и одновременно таким простым показался ему этот вопрос, и на мгновение он испугался, что совершенно оторвется от самого себя и помчится, как перекасти-поле под сильным ветром. Но тут же взял себя в руки. Он здесь, все в порядке, и хватит на сегодня этого гребаного психокопания. Он здесь, он — Том Роган, Том, клянусь Богом, Роган, и если эта спятившая шлюха в ближайшие тридцать секунд не станет паинькой, то скоро она будет выглядеть так, словно суровый железнодорожный коп выбросил ее из мчащегося на полной скорости вагона.

— Я должен тебя выпороть, — продолжил он. — Уж извини, крошка.

Он уже видел эту смесь страха и агрессии. Но впервые взгляд адресовался ему.

— Опустит эту штуковину, — услышал он. — Мне необходимо как можно быстрее попасть в аэропорт.

«Ты здесь, Том? Здесь?»

Он отшвырнул от себя эту мысль. Полоса кожи, которая когда-то была ремнем, медленно качалась перед ним, как маятник. Его глаза блеснули и больше уже не отрывались от ее лица.

— Послушай меня, Том. В мой родной город вернулась беда. Очень большая беда. Тогда у меня был друг. Наверное, я могла бы назвать его бойфрендом, да только мы были слишком маленькими. Ему исполнилось лишь одиннадцать лет, и он сильно заикался. Сейчас он писатель. Думаю, ты даже прочитал одну его книгу... «Черная стремнина».

Она всмотрелась в его лицо, но не обнаружила никакой реакции. Только ремень качался слева — направо, справа — налево. Он стоял, наклонив голову, чуть расставив мясистые ноги. Потом она провела рукой по волосам — рассеянно, — словно занимало ее много разных важных проблем, а ремня она вовсе и не видела, и этот не дающий покоя, ужасный вопрос вновь возник в голове: «Ты здесь? Ты уверен?»

— Эта книга лежала здесь не одну неделю, а я так и не связала одно с другим. Может, следовало, но мы стали старше, и я давно, очень давно не думала о Дерри. Короче, у Билла был брат, Джордж, и Джордж погиб до того, как я познакомилась с Биллом. Его убили. А потом, следующим летом...

Но Том уже наслушался этой галиматьи, что снаружи, что изнутри. Быстро двинувшись на нее, он занес правую руку, как человек, собравшийся бросить копье. Ремень со свистом рассек воздух. Беверли увидела, попыталась увернуться, правым плечом зацепила раму двери в ванную, и ремень сочно чвакнул по ее левому предплечью, оставив красную отметину.

— Я должен тебя выпороть, — повторил Том. Голос звучал спокойно, в нем даже слышалось сожаление, но зубы обнажились в застывшей улыбке. Он хотел увидеть этот взгляд, хотел прочитать в этом взгляде страх, ужас и стыд, хотел, чтобы этот взгляд сказал ему: «Да, ты прав, я этого заслужила», — хотел, чтобы этот взгляд подтвердил: «Да, ты здесь, все так, я чувствую твое присутствие». А потом вернулась бы любовь, и все стало бы нормально и хорошо, потому что он действительно любил ее. Они даже

смогли бы поговорить, если бы она захотела, о том, кто звонил и что все это значит. Но только позже. А сейчас начинался урок. Как обычно, состоящий из двух частей. Сначала порка, потом трах.

— Извини, крошка.

— Том, не делай...

Он нанес боковой удар и увидел, как ремень обвил ее бедро. А потом чвакнул по ягодице. И...

Господи, она хватала ремень! Она схватилась за ремень!

На мгновение Том Роган так изумился столь неожиданным нарушением заведенного порядка, что едва не остался без ремня, точно остался бы, если б не петля, надежно зажатая в кулаке.

Он дернул ремень на себя.

— Даже не пытайся что-либо отнять у меня, — прохрипел он. — Ты меня слышишь? Еще раз это сделаешь, и месяц будешь ссать клюквенным соком.

— Том, прекрати, — ответила она, и ее интонация еще больше разъярила его — она говорила с ним, как воспитательница с шестилеткой, устроившим истерику на игровой площадке. — Я должна ехать. Это не шутка. Люди погибли, а я много лет назад обещала...

Том мало что услышал. Он взревел и двинулся на нее, наклонив голову, вслепую размахивая ремнем. Ударил им Беверли, отбросив по стене от дверного проема. Снова поднял руку, ударил, поднял руку — ударил, поднял руку — ударил. Наутро он сможет поднять руку выше уровня глаз лишь после того, как выпьет три таблетки кодеина, но теперь он осознавал только одно — она ослушалась его. Не только курила, но и схватилась за ремень, пытаясь вырвать его, поэтому, дамы и господа, друзья и соседи, она сама напросилась, что ж, теперь он с чистой совестью сможет дать показания у престола Господа Всемогущего и Всевидящего: она получает все, что ей причитается.

Конец ознакомительного фрагмента. Читать дальше:

[Перейти](#)